

Заур ЗУГУМОВ

ВОРОВСКАЯ ТРИЛОГИЯ

БРОДЯГА • ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА • ВРЕМЯ — ВОР

ВТОРОЕ
ИЗДАНИЕ

18+

Бродяга

Заур Зугумов

**Воровская трилогия. Бродяга. От
звонка до звонка. Время – Вор**

«Книжный мир»

2019

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус)6-44

Зугумов З. М.

Воровская трилогия. Бродяга. От звонка до звонка. Время – Вор /
З. М. Зугумов — «Книжный мир», 2019 — (Бродяга)

ISBN 978-5-6041887-5-0

Преступный мир и все, что с ним связано, всегда было мрачной стороной нашей жизни, закрытой сплошной завесой таинственности. Многие люди в свое время пытались поднять эту завесу, но они, как правило, расплачивались за свои попытки кто свободой, а кто и жизнью. Казалось бы, такое желание поведать правду о жизни заключенных, об их бедах и страданиях должно было бы заинтересовать многих, но увы! Некоторые доморощенные писаки в погоне за деньгами в своих романах до такой степени замусорили эту мало кому известную сферу жизни враньем и выдуманными историями, что мне не осталось ничего другого, как взяться за перо. Я провел в застенках ГУЛАГА около двадцати лет, из них более половины – в камерной системе. Моя честно прожитая жизнь в преступном мире дает мне право поведать читателям правду обо всех испытаниях, которые мне пришлось пережить. Уверен, что в этой книге каждый может найти пищу для размышлений, начиная от юнцов, прячущихся по подъездам с мастырками в рукавах, до высокопоставленных чиновников МВД. Эта книга расскажет вам о пути от зла к добру, от лжи к истине, от ночи ко дню. Содержит нецензурную брань!

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-6041887-5-0

© Зугумов З. М., 2019

© Книжный мир, 2019

Содержание

От автора	6
Книга первая	7
Пролог	7
Часть I	13
Глава 1	13
Глава 2	17
Глава 3	21
Глава 4	24
Глава 5	27
Часть II	31
Глава 1	31
Глава 2	34
Глава 3	36
Глава 4	39
Глава 5	42
Глава 6	44
Часть III	48
Глава 1	48
Глава 2	51
Глава 3	54
Глава 4	56
Глава 5	59
Глава 6	62
Часть IV	65
Глава 1	65
Глава 2	69
Часть V	73
Глава 1	73
Глава 2	76
Глава 3	79
Глава 4	82
Глава 5	84
Глава 6	88
Часть VI	91
Глава 1	91
Глава 2	94
Глава 3	98
Глава 4	102
Глава 5	104
Часть VII	110
Глава 1	110
Глава 2	113
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Заур Зугумов

Воровская трилогия. Бродяга. От звонка до звонка. Время – Вор

От автора

Я всегда знал, что стезя писателя терниста, да и не думал никогда, что у меня хватит знаний и таланта, а главное – терпения и выдержки, для того чтобы написать книгу. И не просто книгу, а автобиографическую повесть, то есть историю моей жизни. Требовался сильный толчок, который подвигнул бы меня на этот нелегкий труд. И случай не заставил себя ждать, точнее, не случай, а целый ряд всякого рода случайностей. Я понял, что со времен гласности обращаться к уголовной тематике и блатному фольклору – в литературе, поэзии, на эстраде и в кино – стало очень модным и даже доходным делом. В конечном счете все это и некоторые другие факторы, вместе взятые, определили мои дальнейшие действия. Преступный мир и все, что с ним связано, всегда было мрачной стороной нашей жизни, закрытой плотной завесой таинственности. Многие люди в свое время пытались поднять эту завесу, но они, как правило, расплачивались за свои попытки кто свободой, а кто и жизнью. Казалось бы, такое желание поведать правду о жизни заключенных, об их бедах и страданиях должно было бы заинтересовать многих, но увы! Некоторые доморощенные писаки в погоне за деньгами в своих романах до такой степени замусорили эту мало кому известную сферу жизни враньем и выдуманными историями, что мне не осталось ничего другого, как взяться за перо. Я провел в застенках ГУЛАГа около двадцати лет, из них больше половины – в камерной системе. Все режимы, начиная с ДВК (детская воспитательная колония), куда меня направили, а точнее, водворили в двенадцатилетнем возрасте, и кончая особым режимом и камерой смертников, где я провел около полугода, несколько лагерных раскруток, в том числе побег из таежного лагеря Коми АССР, – все эти испытания я прошел. Но всего, конечно, во вступлении не напишешь, да это и ни к чему, я думаю. Хочу лишь особо подчеркнуть, что нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах я не шел даже на мало-мальский компромисс, если это было против моих убеждений. Поэтому, думаю, моя честно прожитая жизнь в преступном мире дает мне право поведать читателям правду обо всех испытаниях, которые мне пришлось пережить. Уверен, что в этой книге каждый может найти пищу для размышлений, начиная от юнцов, прячущихся по подъездам с мастырками в рукавах, до высокопоставленных чиновников МВД. Эта книга расскажет вам о пути от зла к добру, от лжи к истине, от ночи ко дню. Если события, о которых в ней идет речь, вызовут у вас сочувствие или сопереживание, значит, я достиг своей цели. «Бродяга» – это вексель, выданный мне в юности, но который я сумел оплатить лишь в преклонном возрасте.

Махачкала, 2001

С уважением к читателю *Заур Зугумов*

Книга первая Бродяга

Пролог

Отчего всякая смертная казнь оскорбляет нас больше, чем убийство? Это объясняется холодностью судьбы, мучительным приготовлением, сознанием, что здесь человек употребляется как средство, чтобы устроить других. Ибо вина не наказывается, даже если бы вообще существовала вина: она лежит на воспитателях, родителях, на окружающей среде, на нас самих, а не на преступнике, – я имею в виду побудительную причину.

Нищие

«Прощайте, братки!..» – услышал я как-то среди ночи отрывистый, отчаянный крик. Еще даже не проснувшись совсем, я узнал голос своего соседа по камере, который сидел со мной через стенку, – голос Лехи Сухова. Сомнений быть не могло: его уводили в ночь и, видно, закрыли рот руками, когда он хотел на прощание проститься с нами, – значит, его увели на расстрел. Подскочив к двери, я присел на корточки и, приложив ухо к двери, стал прислушиваться, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, но было тихо, как в могиле. В какой-то момент мне даже показалось, что все это мне послышалось и я схожу с ума, но дрожь, которая то и дело пробегала по телу, говорила об обратном – к моему глубокому сожалению. Бог мой, как бы мне хотелось ни о чем не думать, ничего не ждать, ни на что не надеяться, не воспринимать мир вообще, жить в своем иллюзорном мире, но увы... Как я завидовал в тот момент своему подельнику, который уже на начальном этапе нашего следствия сошел с ума от пыток, хотя, как читатель, думаю, уже понял, завидовать было нечему. Все же, с моей точки зрения, он уже отмучился. Я почему-то вспомнил, как он улыбался и строил смешные рожи тем, кто сидел в зале, когда судья бакинского суда объявлял нам приговор. Зугумов Заур Магомедович – к высшей мере наказания, расстрелу, Даудов Абдулла Магомедович – к расстрелу, и когда дошла очередь до нашего спятившего подельника, он даже не повернулся в сторону судьи, продолжая улыбаться и корчить всем рожи. И вот сейчас, сидя уже почти полгода в камере смертников, ожидая утверждения или отмены приговора, я завидовал ему, который сошел с ума и сидел где-то далеко от нас, – не потому, что он был менее виновен, а потому, что не воспринимал мир как таковой. Что касается другого нашего подельника, по кличке Лимпус, то он сидел недалеко от меня, нас разделяла всего одна камера, но при определенных обстоятельствах это расстояние становится огромным. Именно в эту ночь расстреляли, как я узнал позже, двоих каторжан из нашего корпуса, а это было немаловажным событием, если учесть, что камер смертников было восемь – и все одиночки. Никогда не забуду, как, сидя на корточках у дверей своей пятой камеры смертников и приложив ухо к двери, я ловил каждый звук извне и вспоминал рассказ одного порчка из хозобслуги. Тогда я еще находился под следствием и сидел в корпусе КПЗ горотдела Баку. Мы просидели там по два месяца при максимально допустимых по закону тринадцати сутках, и только потом нас развезли по тюрьмам. Я попал в центральную тюрьму Баку, других же подельников поместили в тюрьме Шувалыны в пригороде. С самого начала, еще в карантине, я сидел, как мне сказали надзиратели, в камере, откуда в свое время бежал Сталин. Я был и в той камере один и шутил по этому поводу сам с собой, спрашивая себя, к добру ли это. И еще я ломал голову над тем, как умудрился человек, кто бы он ни был, убежать из этого каземата, не будучи невидимкой. Начало тюремного житья здесь было уже

знаменательным. На следующий день я попал по распределению во второй корпус, а еще через день к тюрьме подъехал Тофик Босьяк, один из бакинских воров в законе, и доверил мне смотреть за положением в двух корпусах – первом и втором. Всего в центральной тюрьме было, как и в Бутырках, шесть корпусов. С левой стороны второго корпуса можно было спокойно разговаривать со свободой, – правда, приходилось кричать, но это было кстати, ибо контингент, услышавший от вора имя положенца, никогда не позволит себе никаких сомнений в его компетенции. Сообщение слышали и менты, но и это было на руку вора, ибо и менты таким образом становились ручными. Бакинская центральная того времени была тюрьмой, о которой мог мечтать любой заключенный ГУЛАГа. Почти в любое время суток, имея деньги, арестант мог себе позволить множество запрещенных законом вещей: пойти в камеру к другу в гости после проверки, иметь курево, чай, наркотики, продукты питания... Все это можно было заказать со свободы, – при желании даже женщин, были бы деньги, за них здесь почти все продавалось и покупалось. Но за такими делами нужен воровской глаз, чтобы все было честно и благородно, по-воровски. Вот я и осуществлял эту непростую миссию. У меня была возможность почти в любое время выходить из камеры и ходить по двум корпусам туда, где требовалось мое присутствие. Естественно, при этом я вел себя прилично, положение обязывало меня не употреблять наркотики, спиртное, не быть предвзятым и пристрастным ни в чем и ни к кому, даже по отношению к родному брату. Однажды во дворе тюрьмы рабочие хозблока показали мне одного типа, который, сидя на бревнышке и привалившись спиной к стене прогулочного двора, закрыв глаза, наслаждался ранним весенним солнцем так, будто только недавно вышел из темницы. Его поза сразу бросалась в глаза искушенному глазу арестанта. Он был горбат, видно с рождения, с копной густых темных с проседью волос, неряшливый на вид и с отталкивающей внешностью попрошайки-порчкака. Мысль о разговоре с подобным типом вызывала брезгливость. Я пересилил в конце концов антипатию, ибо мне нужны были сведения, которыми обладал только этот человек, если позволительно называть человеком такое существо. Я уже давно не тешил себя надеждой вывернуться по ходу следствия из цепких лап смерти. Уже тогда я ясно понимал, что подобное «непредвзятое» следствие неминуемо приведет меня к расстрелу. Центральная бакинская – тюрьма исполнительная, то есть приговор суда к высшей мере наказания приводится в исполнение именно в ней. И вот этот самый горбун и был «шнырем камеры грез» – так называли его все арестанты, которые знали, чем он зарабатывал себе в тюрьме на кусок хлеба. То есть он был шнырем именно тех камер, где расстреливали и готовили к расстрелу, что в принципе одно и то же. Но разговорить эту мрачную личность было совсем не просто. Он ничем не интересовался – при разговоре с ним создавалось такое впечатление, что он вообще живет где-то в потустороннем мире, и даже когда он начал отвечать на мои вопросы, он словно рассказывал о какой-то далекой планете. Несомненно, он был не в своем уме, но как бы до определенных пределов и делал свою работу по инерции, как робот. Собрав в уме воедино отрывистые эпизоды его рассказа, я составил себе следующее представление о том, где и как творит правосудие госпожа Фемида. Вот как это происходило: среди ночи, как правило ближе к утру, в камеру, предназначенную для подобного рода процедур, заводят арестанта в наручниках и ножных кандалах. За столом, покрытым зеленым казенным сукном, сидят прокурор, начальник тюрьмы и врач. Конвой, который приводит приговоренного, остается за дверью, наверное на всякий случай, а в этой самой комнате приговоренный тут же попадает под опеку самого исполнителя. С той минуты, как осужденного ввели, сам палач уже не отходит от него ни на шаг, до самой кончины приговоренного. При появлении осужденного присутствующие встают – и прокурор зачитывает приговор Верховного Совета СССР. Почему именно Верховного Совета СССР? Потому что при вынесении в любой из пятнадцати республик СССР приговора к высшей мере наказания именно Верховный Совет всей страны должен был дать окончательное заключение, виновен человек или нет. После того как приговор зачитан, исполнитель заводит несчастного в находящуюся рядом камеру, словно для

каких-то подготовительных действий, и внезапно стреляет ему в затылок. Затем исполнитель пробивает железным прутом отверстие в височной части головы несчастного и в таком виде фотографирует труп. Затем врач документально констатирует смерть и все четверо расписываются – удостоверяют исполнение приговора. Труп тайно вывозится за пределы тюрьмы. Куда – никто не знает, но родителям покойного труп никогда не выдается. Ну а следы «акта социальной защиты» этот самый шнырь должен был убрать. Когда он мне все это рассказывал, я внимательно наблюдал за ним, но эмоций было ноль. Обыденный рассказ о каком-то не особо важном происшествии. «Да, – подумал я тогда, – иногда человек хуже животного, потому что, имея способность размышлять и сострадать, он все же не делает ни того, ни другого, превращаясь в бесчувственное и безмозглое нечто».

И вот сейчас, сидя у дверей своей камеры, я мысленно представил себе, как все то, о чем рассказывал мне горбун, происходит с Суховым. Я никогда не видел Сухова, только слышал его голос, да и то очень редко, когда у нас была редкая возможность перекинуться парой-тройкой слов, хотя мы и сидели через стенку, в соседних камерах. Знал я, что и у него, как и у меня, было еще два подельника и, так же как и у меня, одному из них было 15 лет. Родом они все были из Краснодара, а сидели за то, что убивали водителей такси и частников и угоняли их машины. У них, если мне не изменяет память, так же как и у нас, было по делу девять трупов. Вот так, в думах и воспоминаниях, забыв обо всем, я просидел у дверей своей камеры смертников до самого подъема. Что же представляла собой камера смертников центральной тюрьмы города Баку? Это было серое и мрачное, почти квадратное помещение, где-то четыре на четыре метра. При входе справа на цепях висели узкие нары, при подъеме их пристегивали к стене огромным замком, а при отбое опускали на маленький табурет, вмурованный в пол. В левом углу от входа параша, крышка которой прикреплена к ручке цепью толщиной с детский кулак. Между этими двумя неизменными атрибутами любой тюремной камеры страны на высоте в два человеческих роста находилось окно, если его можно так назвать. Как мне раньше казалось, окна существуют для того, чтобы в комнату проникал свет, в этой же камере мои понятия на этот счет резко поменялись, ибо свет из окна не поступал. Огромное количество решеток полностью преграждало свету доступ в камеру. Никогда нельзя было понять, глядя по привычке на окно, какое сейчас время суток: день или ночь? И только строгое расписание быта корпуса смертников позволяло ориентироваться во времени. Камеру же освещала маленькая лампочка, которую я, так же как и дневной свет, не видел никогда и которая, даже из симпатии к арестанту, ни разу не перегорала за то время, что я находился в этой камере. Она располагалась где-то высоко над дверью, утоплена в глубокой нише и тоже зарешечена. Таким образом, в камере был постоянный полумрак, дававший понять ее обитателю: ты еще не в могиле, но уже и не на этом свете. Камера являлась своего рода промежуточной станцией на пути в мир иной. Сейчас я, конечно, могу себе позволить иронию по отношению к быту камеры, где я тогда находился, тогда же, конечно, мне было не до иронии. С самого подъема, как только поднимались нары, начиналось хождение – четыре шага к стене и столько же обратно до двери. И так каждый день. Мне кажется, что за те полгода, находясь в строгом уединении и вышагивая взад и вперед, я прошагал расстояние от Земли до Луны. Единственный раз в сутки камера открывалась, когда выводили на прогулку. Это мероприятие было всегда после отбоя. Открывалась кормушка, я просовывал в нее обе руки, на них клацали наручники, и только тогда открывалась дверь. На прогулку меня всегда сопровождали трое: один офицер и двое солдат внутренней службы, которые давали многолетнюю подписку о неразглашении места службы. Со стороны могло показаться странным, как четыре человека, шагая по коридору, не издают даже малейшего шума? Объяснение заключалось в том, что пол в коридоре был покрыт толстым, толщиной в две ладони, слоем резины, а сверху еще постелена дорожка из плотного материала. За исключением времени принятия пищи и еще некоторых моментов в коридоре стояла гробовая тишина. Связь с внешним миром производилась только через одного человека – о нем

чуть позже. Целый день часовой был обязан маршировать по коридору, и он же нас кормил, когда привозили баланду. Что нужно приговоренному к расстрелу человеку? На мой взгляд – исходя из моего печального опыта, – две вещи: курево и место для движения. Помимо положенной по закону для подобного рода осужденных осьмушки махорки, которой в аккурат хватало на четыре скрутки, из корпусов приносили общак. Но делал это всегда один и тот же человек, и, как то ни странно, этим человеком был сам исполнитель смертных приговоров. Звали его Саволян. Я на всю жизнь запомнил это имя. Для приговоренных он был буквально всем. Человек этот был настолько независимым, что не подчинялся даже начальнику тюрьмы. Как мне удалось узнать много позже, люди подобного рода занятий всегда подчинялись напрямую Москве и никто, помимо московского начальства, не являлся для них авторитетом. Это была особая категория людей – палачи. Меня очень интересовали критерии, по которым их отбирали, и эта заинтересованность, я думаю, понятна. Я и подобные мне находились в абсолютной зависимости от них. Сам Саволян был ниже среднего роста, но хорошо сложен и мускулист. Глубокие морщины вокруг глаз и складки, которые пролегли около носа и рта, выдавали его возраст. На вид ему было далеко за пятьдесят. Хмурый взгляд, дрожащие руки, молчаливость вполне соответствовали его профессии. Все обитатели смертного корпуса знали, что кормушка на дню открывается четыре раза – три раза для принятия пищи и один раз для защелкивания наручников перед прогулкой. Дверь же открывалась один раз и только ночью, – днем она не открывалась никогда. Самыми тягостными минутами были минуты ожидания прогулки после отбоя. И когда дольше обычного приходилось ждать конвой, мысли в голове проносились как шальные, обгоняя друг друга, ибо время вывода на прогулку совпадало со временем вывода на расстрел. При мне, пока я находился в этом корпусе, расстреляли четверых. Сухов и цыганенок, его подельник, к счастью, были последними. Мне кажется, что смерть человек чувствует каким-то спящим до времени шестым чувством. . . Каких только не приходило мыслей каждый день в тот период времени с отбоя и до начала прогулки! Бывало, приходилось часами сидеть у дверей камеры и прислушиваться к малейшему шороху, а иногда часами шагать по камере, призывая эту самую смерть как манну небесную. Я вспоминаю, как с самого моего водворения в эту камеру я целыми днями напролет просиживал на корточках возле двери. Перед этим, сразу после суда, получился у нас с мусорами небольшой хипиш и мне сломали ребро. Так вот, сидя у дверей камеры смертников, я даже не чувствовал боли телесной. Ребро так и срослось, крест-накрест. Много позже, когда мне делали операцию в Туркмении, в городе Чарджоу, врач-хирург после операции спрашивал меня, в каком же Богом забытом месте я находился в тот момент, когда получил подобную травму. Однако страх был сильнее боли. Мне кажется, что казни страшнее этого ожидания трудно придумать, потому что человек наказывает себя сам, постоянно психологически настраиваясь на неминуемый скорый конец. В моем случае апогеем ожидания этого самого конца были те доли секунды, когда я в наручниках выходил из камеры и внимательно смотрел на руки конвоя – нет ли наготове еще одной пары браслетов на ноги. Видя отсутствие кандалов, я облегченно вздыхал и успокаивался ровно на сутки. Так продолжалось 5 месяцев и 26 дней, пока на 27-й день, ближе к вечеру, я не услышал шум открываемой двери, такой непривычный в это время, зловещий и загадочный. Я замер на месте. Точно помню, что вся моя жизнь каким-то образом промелькнула передо мной как на экране, с быстротой мысли. Я каждый день представлял этот момент и ждал его, а когда он пришел, был не готов ко встрече с ним. Так в жизни бывает очень часто. В этот момент я как бы раздвоился. Один Заур говорил: «Все, это конец». Другой не говорил ничего, он, затаив дыхание и надежду, молчал. Да, затаив таинственную, ни на чем не основанную надежду. Именно тогда я понял и ощутил, что последней умирает действительно надежда человека.

* * *

В решительные минуты жизни сама природа подсказывает человеку его действия. Его поведением управляет сочетание привычки и мышления, доведенного до высшей степени быстроты и умения приспосабливаться к данным обстоятельствам.

Почти вдоль всей некогда могучей страны пролегал наш путь по этапу, на северо-восток к китайско-монгольской границе. Читинская область, город Нерчинск – таков был наш конечный пункт. Краснодар, Ростов, Пенза, Казань, Свердловск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Чита. Вот неполный перечень городов, в тюрьмах которых мы побывали, и в каждой не меньше полу-месяца, пока добрались до места назначения. В то время люди шли по этапу многие месяцы, и в этом не было ничего удивительного. Как бы ни была хорошо отлажена система ГУЛАГа, все же и она имела свои погрешности, и в частности это касалось транспортировки заключенных, а последнее, естественно, было не в их пользу. Ибо в любое время года этап, да еще и дальний, – это всегда каторга, ну а если летом, то, пожалуй, и вдвойне. Думаю, вам нетрудно себе представить вагон-«столыпин». Кстати, название свое он получил благодаря переселениям крестьян, которые проводил царский министр Столыпин. Так вот, это простой товарный вагон, то же купе, только вместо стены и двери – сплошная решетка. В самом купе – три ряда почти сплошных нар, заполняется купе всегда до отказа, то есть сидеть можно, но лечь некуда, и так приходится ехать месяцами, с некоторыми перерывами в пересыльных тюрьмах, пока не доберешься до места назначения. Даже человеку, не сопровождаемому конвоем, не под силу вынести такой путь. Что же приходится терпеть людям заключенным, человеку непосвященному остается только догадываться. Не успеешь выпрыгнуть из вагона, звучит команда: сесть, положить вещи впереди себя, руки за голову. Так и сидишь, пока все не выйдут из вагона, затем начинают считать по головам, как скот. После чего звучат наставления: шаг влево, шаг вправо, прыжок вверх считается за побег – конвой шутить не любит, и уже для профилактики командуют раз пять сесть, встать и шагом марш. Где-то недалеко ждут «воронки» (машины, специально приспособленные и оборудованные для конвоирования), но до них уже почти бежишь, так как конвой немного спускает с поводков собак, и если отстанешь, то зубов этих тварей не избежать. Передних заставляют идти ускоренным шагом, а последним, то есть больным и старикам, приходится бежать. Можно только догадываться, чему учили на службе этих 18-20-летних юнцов, если никто из нас не видел от них ни сочувствия, ни жалости, о большем и говорить не приходится. Самым ненавистным считался конвой, где преобладали лица азиатских национальностей, так же как и вологодский конвой. Это были натуральные изверги. Считалось, повезло, если конвой с Кавказа или из Сибири, эти вели себя по возможности по-людски, да и всегда с ними можно было о чем-то договориться.

И вот, погрузившись в «воронки», следуем в тюрьму, ну а здесь начинается процедура приема. Заводят в помещение, где вдоль стен намертво приколочены лавки, а в одной из стен окошко. Приказывают раздеться донага, а вещи бросить в это самое окошко. Затем заставляют согнуться буквой «Г», раздвинуть ягодицы – и в буквальном смысле заглядывают в задний проход, не спрятано ли там что-то. Если все в порядке, то проходишь в другое помещение, где в куче лежат вещи всех тех, кто прошел шмон. Пока найдешь свои, звучит команда «выходи». Теперь уже ведут в баню, ну а после бани – в камеру. Конечно, камера транзита резко отличается от общих камер, то есть тех, где сидят либо до суда, либо после. Там, где приходится сидеть некоторое время, мы стараемся обустроиться по возможности с уютом, там же, где проездом, как в поговорке: после меня хоть потоп. Я даже встречал в транзитных камерах в туалете опарышей, это такие белые черви, я на них после в Коми, на Печоре, рыбу ловил. В общем, здесь так же, как и везде в тюрьме. Если есть каторжане, значит, будут чистота и относительный порядок, насколько их можно создать в транзите. Но что бы мы ни делали, а вот от вшей и

клопов никуда не деться: они всегда достанут, аж порой бывает невоготу. А все потому, что в транзитных камерах матрацы и подушки лежат годами, отполированные до блеска грязью, даже материала не видно, особенно на подушках. О простынях, наволочках, также как и об одеялах, не может быть и речи. Иногда можно услышать возмущение какого-нибудь паренька-первохода, так на него смотрят так, будто он потребовал апартаменты с ванной и отдельным туалетом. До такой ужасающей степени утвердились эти традиции как по этапу, так и во всей системе. Вот и приходится сидеть полмесяца, месяц, а иногда и больше – в зависимости от того, как повезет с этапом. Когда же забирают на этап, то процедура почти такая же, только шмон проходит непосредственно в «Столыпине», по ходу этапа. Но как бы ни забивали купе «стольпинских вагонов» до отказа, всегда найдутся люди, которые подскажут, как правильно и как лучше разместиться, помогут всем, чем смогут, – и делом, и советом. Человек больной или старый не останется без внимания, и вещи кто-нибудь поможет донести, и, если надо, потеснятся, чтобы прилег. Общее горе и нужда хоть и озлобляют, но все же доброта и человеколюбие почти всегда берут верх. Так уж устроен арестант, как бы ни было плохо самому, но, видя, что кому-то еще хуже, он забывает о своем горе и старается помочь.

Много лет назад я читал статью о Пауэрсе, военном летчике США, которого сбили в 1959 году где-то над Уралом, когда его самолет-разведчик пересек нашу границу. Так вот, сидел этот Пауэрс во Владимире, в крытой, и все время находился в санчасти, – видно, так распорядились сверху, чтобы в грязь лицом не ударить, лучшего-то места в тюрьме нет. После суда его отправили на родину, в США. По приезде домой он дал интервью: «Русские три года держали меня в туалете». Видимо, то, что для нас хорошо, для них из ряда вон плохо, у них и психология другая, да и отношение к людям, в частности к заключенным, абсолютно другое.

Часть I

Я малолетка

Как только благоразумие говорит: «Не делай этого, это будет дурно истолковано», я всегда поступаю вопреки ему.

Нищие

Глава 1

На улице

Если исходить из того, что наша жизнь – театр, а мы в ней актеры, то я прошу снисхождения у читателя, так как, не имея никакого опыта, не могу претендовать на высокий литературный стиль. А посему прошу читателя строго не подходить к манере моего письма и надеюсь, что мне позволительно будет говорить о себе с полным беспристрастием, как если бы речь шла о постороннем мне человеке.

Итак, начинаю свое повествование. Я родился вскоре после войны. Мать моя была врачом и работала в больнице, у нее был ненормированный рабочий день, приходила домой она поздно. Отец сидел в тюрьме, увидел же я его впервые, когда мне было четырнадцать лет, так что можно сказать, воспитывался я на улице. Хотя у меня была бабушка, под ее надзор я попал лишь после того, как темнота окутывала мрачные и грязные улицы Махачкалы. Так что первые жизненные университеты я начал проходить на улице. Это был совершенно обособленный мир, и о нем стоит рассказать подробнее. Одна из первых уличных заповедей гласила: ты не имеешь права ни при каких обстоятельствах продать не только друга, но и врага. Вторая, не менее важная, – обязательно и при любых обстоятельствах за обиду, нанесенную тебе, ты должен дать сдачи – короче говоря, отомстить. Эти заповеди на улице святы, и мы рьяно придерживались этих правил, даже будучи детьми. Дети постарше, у которых родители сидели в тюрьме, держались обособленно, и младшие их побаивались.

Как правило, это были юные кандидаты в тюрьмы и лагеря. Время было очень тяжелое, и даже мы, дети, это понимали. Не раз мы, пацаны, видели, как трое мужчин, выпив портвейна, ругают свое начальство и нашу систему, а на следующий день одного из них забирали, и очень долго или никогда он уже не возвращался. Нередко за украденный мешок картошки или какой-нибудь крупы давали по десять лет. Для тех, у кого душа была подлая, низкая и завистливая, лучшего времени трудно было придумать.

Анонимные доносы и наущничество, корысть и лизоблюдство процветали в обществе и открыто приветствовались властями. Пороки того времени в некотором смысле нашли свое продолжение и в дальнейшем. Но об этом уже столько написано и сказано, что я, видимо, ничего нового не прибавлю. Хочу лишь заметить, что любые катаклизмы, происходящие в обществе, не могут не коснуться подрастающего поколения. На долю нашего поколения выпало много испытаний, большинство не могло им противиться, а тот, кто мог, сидел в тюрьме.

Как ни банально это будет звучать, но первое, что я украл, был хлеб! Сейчас мало кто может это понять и представить нас, пацанов, живущих по законам улицы, постоянно полуголодных. В десятилетнем возрасте я уже познал жизнь взрослых. Помню, когда хлеб давали по карточкам, всю ночь бабушка стояла в очереди, утром шла на работу, а днем продолжал стоять я. В эти долгие часы, стоя на холодном ветру, я мечтал вдоволь наесться хлеба. По ночам мне снился хлеб, и не только мне, но и многим моим сверстникам. И как ни парадоксально, но через двадцать с чем-то лет он опять мне снился, но уже в камерах и лагерях строгого и особого режима, ибо совдеповская администрация ГУЛАГа (Главное управление лагерей) ломала

психику заключенных голодом, холодом и всевозможными лишениями. Но об этом я расскажу позже.

На месте нынешнего пединститута была пограншкола, в 50-х годах ее уже не было и все пригодные для жилья здания были отданы под интернат. Я был в семье единственным ребенком, но друзья мои имели по двое-трое братишек и сестренки, так что почти у всех кто-то находился в интернате. Если мы, живя в семье, всегда хотели есть, то что говорить об интернатских детях. Но мы не оставляли их в беде и не давали в обиду старшим интернатским ребятам и учителям, ибо и те и другие их били, а мы по мере возможности били и тех и других. Всем тем, что нам удавалось урвать, мы по-братски делились со своими друзьями, принося добычу в интернат. На углу улиц 26 Бакинских Комиссаров и Комсомольской был хлебный магазин. Он обслуживал очень большой район, поэтому хлеб туда доставляли три раза в день: два раза днем и один раз – в полночь. Мы бросали жребий, и один из нас, кому выпадала решка, должен был идти красть, а все остальные стояли на шухере. Часто, конечно, нас ловили и били, но к побоям мы давно привыкли, обидно было то, что при этом и добычу отнимали. В то время самое что ни на есть лакомство для нас была коврижка – это что-то вроде тульского пряника, но намного вкуснее, так нам тогда казалось. По форме своей она была чуть больше чурека и стоила по тем временам больших денег: сто сорок рублей за килограмм (до 1961 года). То и ценно, как говорится, что недоступно, и мы всячески старались утащить это недоступное для нас лакомство при разгрузке машины, хотя основной нашей целью был хлеб. После наших набегов на хлебные лабазы, независимо от того, удачные они были или нет, мы шли на обход базара. Базар был одним из любимых наших мест. В то время в городе был только один базар, тот, что возле моста, впрочем, моста тогда еще не было.

Обойти базар было для нас все равно что для верующего совершить божественный ритуал. Здесь мы до отвала наедались фруктами, мягко выражаясь, беря у каждого продавца понемножку, при этом не заплатив ни копейки.

Опять же нас ловили и били, но нам было все нипочем. Мы так располагали тело при побоях, чтобы удары попадали реже и было не так больно. В воскресенье на базаре была толкучка. Это было всегда самое знаменательное и желанное событие за неделю. Вся махачкалинская шпана была налицо. Собирались за железной дорогой, возле бондарного завода, и честно делили территорию. Очень редко кто-нибудь нарушал установленный порядок. Если это случалось с кем-то, его били до тех пор, пока он не признавал нашу правоту и не молил о пощаде. Нарушение установленного порядка было чревато очень серьезными последствиями. После целого дня «трудоу» мы вновь собирались отдельными группами и делили добычу поровну. Если же кто-то вдруг ухитрился утаить что-то, его здорово избивали и больше никогда не допускали в свою компанию. Их называли крысами, и от этого прозвища невозможно было избавиться. Законы улицы суровы, но справедливы, и независимо от возраста все должны были их соблюдать, правда, малышам многое прощалось. Все тутовые деревья в городе мы знали наперечет. Где черная шелковица, где белая, где гоняют, где нет, куда и как можно залезть. Заправленная в трусы майка была черной от тутовника, больше некуда было складывать ягоды, сидя на дереве, и от матери мне здорово доставалось, ведь следы от тутовника практически не отстирываются.

Самой большой отрадой для нас было, пожалуй, море. Целыми днями мы пропадали на «детском пляже». Это было место, где могли купаться и отдыхать все без исключения, в том числе и люди из преступного мира. Порой с утра и до самого вечера мы пропадали на пляже. Никогда не забуду, как, проголодавшиеся после купанья, мы заходили в портовую столовую. Кусочек хлеба с гарниром стоил восемь копеек, и надо было видеть, как мы аккуратно, краешком хлеба выбирали с тарелок остатки пищи. Тарелка оставалась чистой, как будто ее помыли. Осенью, когда на пляже становилось холодно, мы перемещались на биржу. Она находилась на

месте кинотеатра «Комсомолец» и прилегающей к нему территории, включая летний кинотеатр, – и это была вотчина малолеток.

Мы играли в «лангу» и «альчики» зимой в фойе кинотеатра, а летом во дворе. Взрослые же прогуливались по бульвару. Все проблемы преступного мира обсуждались и решались напротив хлебного магазина. Здесь же продавали анашу и морфий. Кстати, тогда за анашу не было уголовной ответственности. Ее свободно носили в карманах, но при этом наркоманов было очень мало, и их, мягко выражаясь, не приветствовал никто. Анашистов же не считали наркоманами, их называли кайфовыми людьми. Я думаю, что различие, по большому счету, состоит в том, что от анаши не бывает наркотической зависимости, так называемого кумара, как говорят в преступном мире. Нам же, пацанам, все эти наркотики и прочее были ни к чему. У нас был свой мир – «лянга» и «альчики». Надо было видеть, с каким азартом и проворством мы кидали «альчики». Почти каждый час кто-то с кем-то дрался, затем обсуждали, кто прав, кто виноват, и опять шли играть. Что касается «лянга», это был маленький кусочек свинца, величиной с двухкопеечную монету и такой же формы. В нем продельвали две дырочки, как на пуговицах, и в них просовывали проволоку, а с другой стороны клали пучок конского волоса или вырезали кусочек овечьей шкуры диаметром пять-семь сантиметров. Затем волосы затягивали проволокой и распрямляли – и получалась «лянга». По часу, а то и больше, подбивая самодел то одной, то другой ногой, мы умудрялись выписывать всякого рода пируэты, но упасть «лянге» не давали, это считалось проигрышем. Так коротали мы свой досуг. Но как только начинало смеркаться, мы шли занимать места в кустах возле какого-нибудь кафе или ресторана и ждали, когда выбросят распитую бутылку. Ресторанов и кафе было мало, а нас много, поэтому нам постоянно приходилось драться за бутылки, потому что назавтра мы могли сдать эти бутылки, наесться досыта, да еще и накормить своих корешей в интернате, если по каким-либо причинам нам не удавалась вылазка на хлебные лабазы. Так что дело было стоящее, и за него приходилось драться. Разбитые носы, синяки и царапины в счет не шли, все это было пустяком, на который никто не обращал внимания. Что характерно, в драке тоже были свои незыблемые правила. Например, лежачего не били, дрались либо до первой крови, либо пока кого-то не собьют с ног. Очень редко кто-то переступал границы дозволенного. Это была Улица, со своими законами, своей моралью и своим кодексом чести. Мы были очень дружны. Я не помню, чтобы кто-то из моих друзей когда-то бросил меня или предал, и это при том, что самому старшему из нас было 12 лет. Хочу заметить, что воровали и дрались мы не ради наживы и бахвальства, не ради забавы и развлечений, а чтобы просто наесться досыта.

Отец мой был работяга, по сути своей, честный и добрый человек. Всю жизнь он проработал водителем. Судили его за то, что вез заказной груз, который оказался ворованным. Знал он об этом или нет, но своих работодателей он, естественно, не выдал, и дали ему за это 15 лет. Родился я, когда он уже сидел, и увидел его впервые в 1961 году, его освободили по зачетам. Но на свободе он меня не застал, я сидел в ДВК, в городе Шахты Ростовской области, там и познакомился со своим отцом. Деда своего я не застал, он умер, когда я еще не родился. Был он красный партизан, советскую власть в Дагестане устанавливал. Мать отца, как ни парадоксально, была княжна. Дед украл ее, правда с ее согласия. Во все времена любовь не знала ни границ, ни преград из-за различий в социальном происхождении. Мать моя, как я уже говорил, была врачом, причем врачом от Бога. У нее были золотые руки в буквальном смысле этого слова. Скольких детей она вернула с того света, скольких людей подняла на ноги с помощью массажа, тех, которые вообще годами не ходили. Да что об этом говорить! Она умудрялась переворачивать плод в утробе матери – тоже с помощью массажа. Надо было видеть, как среди ночи, забыв обо всем на свете, кроме своих инструментов, она бежала в одной комбинации к больному ребенку. Предметы и препараты первой необходимости для оказания помощи больному у нее были всегда в идеальном порядке и наготове, что же касается инструментов, то ими она занималась с особой тщательностью. До сих пор, хотя уже прошло 15 лет, как мамы не

стало, многие люди вспоминают ее с любовью и уважением, так же как и она когда-то относилась к ним. Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня сжимается сердце. К сожалению, многие из нас не ценят наших матерей при жизни так, как они того заслуживают, а когда их уже нет, то с болью в душе осознают утрату. Пусть же благодарная память о них всегда будет примером нашим детям и внукам. Я очень любил свою мать и очень боялся, но, как показала жизнь, видимо, мало боялся. В детстве у меня была заветная мечта – стать хирургом, и, даже будучи в заключении, в малолетке, я все равно не терял надежды и мечтал об этом. Когда я освобожден из малолетки после трех лет заключения, мне было всего семнадцать с половиной лет и я вполне мог осуществить свой план. Но жизнь распорядилась по-другому. Мать работала в больнице на двух ставках с утра до ночи, а то и до следующего утра, чтобы как-то прокормить нас и купить что-нибудь из одежды. Я всегда старался прийти домой раньше матери, но если не успевал, то взбучки было не избежать. Иногда я притворялся, что мне очень больно, когда она била меня. Тогда она прекращала порку, бросала ремень, садилась на стул, закрывала лицо руками и плакала. Вот здесь уже и мне было не по себе, так было ее жаль, что иногда слезы наворачивались у меня на глаза, и я плакал вместе с нею. Я обнимал ее и целовал, говорил ласковые слова, которые приходили в голову, и клялся, что никогда в жизни не буду ни воровать, ни драться. А на следующий день я продолжал делать то, что и раньше, как будто ничего не было, начисто все позабыв. Я не встречал в жизни женщину, которая бы так любила своего сына, как любила меня моя мать. Как нетрудно догадаться, большую часть времени я проводил с бабушкой, она же меня и воспитывала. Жизнь моя была полна всякого рода бед и печалей, мне здорово досталось, но при этом у меня есть и целый ряд прекрасных воспоминаний. Одно из них – это воспоминание о моей бабушке. Это была необыкновенная женщина. Все, или почти все, что есть во мне хорошего, все мои положительные черты – это от моей бабушки. В жизни каждого человека, будь у него хоть идеальные родители, есть еще кто-то из близких, кто ему особенно дорог. Это может быть старшая сестра, бабушка или тетя, а для меня была моя бабушка. Будучи дворянкой по происхождению, она окончила Смольный институт в Санкт-Петербурге, свободно изъяснялась на трех языках, прекрасно играла на рояле, была глубоко интеллигентной и образованной женщиной. Выйдя замуж за сына адмирала, графа Фетисова, она не успела даже познать семейную жизнь, как началась революция. Вся семья бабушки, ее родители и младший брат в спешке покинули Россию и поселились во Франции. Бабушка же не могла уехать, ибо она была женой морского офицера, а российский флот еще не был красным. Какой-то пьяный солдат из-за угла выпустил всю обойму в ее мужа прямо у нее на глазах. Очнувшись она в больнице на Васильевском острове. Бабушка была на четвертом месяце беременности, и в таком положении оказалась одна, без средств к существованию. В один миг она лишилась любимого человека, родных и близких. Этот день она так хорошо запомнила, что я, слушая ее, настолько ясно все себе представлял, будто сам был невольным свидетелем происходящего. Я часами напролет мог слушать рассказы бабушки, все мне было интересно, особенно подробности жизни в дореволюционное время. Бабушка давала мне уроки французского языка, этикета и всего того, что должен знать юный отпрыск дворянского рода. Она всегда верила в то, что когда-нибудь я стану врачом с мировым именем и меня будут приглашать для консультаций в европейские страны. И тогда-то все узнают, что я не какой-то коновал из красной России, а настоящий ученый муж из старого дворянского рода. Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает, и, к сожалению, этому не суждено было сбыться, как и многим другим честолюбивым мечтам моей бабушки. Я не боялся, когда меня ловили за кражу и били, не боялся драться со взрослыми ребятами, даже когда мать меня лупила, я, как правило, переносил порку стойчески и старался не плакать. Но стоило бабушке воскликнуть: «Неужели ты это сделал?» – или: «Ты посмел так поступить!» – и мне становилось стыдно. Ее слова очень много для меня значили, после общения с ней я начинал смотреть на мир ее глазами, а в душе возникали добрые чувства. И что удивительно – с утра до вечера я воровал, дрался и вытворял

массу всевозможных глупостей, а вечером как послушный, тихий ребенок с замиранием сердца слушал рассказы и наставления бабушки. Естественно, такой перепад моего поведения не мог не сказаться на моем характере, и впоследствии все это я неплохо использовал на воровской стезе. Те немногие бродяги, кто остался в живых и с кем мне приходилось отбывать срок в тюрьмах или лагерях, наверное, читая эти строки, поневоле улыбнутся, многое вспомнив, а вспомнить есть что, уж это точно.

Глава 2 Детская колония

В то далекое время в Махачкале была одна детская комната милиции и находилась она на улице Маркова, неподалеку от женской консультации, если идти со стороны вокзала. Инспектор была очень симпатичная девушка – Столбарь Светлана Александровна, до сих пор помню ее, потому что по-детски впервые был влюблен в нее и впервые разочарован. Однажды я увидел ее в форме и был потрясен, мне не верилось, что предмет моего обожания может носить форму, но это было еще полбеды. Под ручку с ней шел офицер милиции, у обоих на погонах было по маленькой звездочке. Как оказалось, это был ее муж. Естественно, теперь о любви не могло быть и речи, так глубоко в нас, еще детях, сидело отвращение ко всему милицейскому. У каждого из нас кто-то из родных сидел в тюрьме, и почти все видели, как их забирала милиция, и в детской памяти это запечатлелось надолго. Так вот, с девяти часов утра до четырех вечера мы должны были находиться в этой детской комнате милиции. В противном случае нас вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних и отправляли в ДВК, так называемую бессрочку. По закону судить нас могли только с 14 лет, вот и была у них альтернатива. Ибо в бессрочку водворяли с 12 лет и могли держать до 18 лет, и не нужны были ни следствие, ни суд, все решала комиссия. Колония была вроде спецшколы, еще и охрана была без оружия. Как вы могли бы догадаться, я не мог смириться с такой несправедливостью и в детской комнате, естественно, не появился. Ну а после этого меня в очередной раз поймали с поличным за кражу и отправили на комиссию, а оттуда в ДВК, а это значило потерять свободу. Я никогда не забуду, как убеждали мою мать не препятствовать моему водворению в колонию. Обещали, что через полгода максимум она сможет забрать меня оттуда совсем другим человеком. Но эти несколько месяцев вылились в несколько лет. И наверное, меня держали бы еще дольше, если бы не приехал отец и не забрал меня. Но это было позже. А пока нас в количестве девяти человек привезли в Каспийск, туда, где находилась ДВК, там, по-моему, она находится и по сей день, только чуть преобразовавшись. По большому счету, я особенно и не удивился. Почти все мои друзья по уличным проделкам были здесь. Нас, так же как и на улице, били, когда ловили с поличным, только здесь били воспитатели и за всякую ерунду, например не выучил урок, не так ответил, поломал что-нибудь, всего и не упомнишь. Но было одно серьезное отличие – забор вокруг колонии; и мне, привыкшему к свободе, трудно было свыкнуться с мыслью, что придется провести здесь несколько месяцев. Каким я был наивным. Мог ли я себе представить тогда, что не несколько месяцев, а пару десятков лет придется мне томиться в гулаговских застенках. Итак, пару-тройку раз подравшись для приличия, мы стали готовиться к побегу. Во время праздников тех, кто хорошо себя вел, выводили с воспитателем на свободу, но друзья мои и я, естественно, в их число не входили. Оставалось одно – преодолеть забор.

Первый свой побег я помню смутно, но зато хорошо помню, что он нам удался, – правда, в течение недели почти всех переловили. К нам присоединились еще трое пацанов, так что нас было 12 человек. Мы еще в колонии решили, что будем сразу после побега любыми путями добираться до Махачкалы. У меня, правда, было какое-то странное предчувствие, но объяснить себе его я не мог. Лишь много лет спустя, тоже в побеге, но уже в Коми, в таежной глуши, я почему-то вдруг вспомнил, что тогда, при первом побеге, я испытал это же чувство. Уже в

двенадцатилетнем возрасте я ощущал себя изгоем общества, и мне почему-то казалось, что не один раз мне придется бежать из зоны, и я, к сожалению, не ошибся.

Один раз в день в Каспийск приходило несколько вагонов с кукушкой (такой маленький паровозик, ездивший по узкоколейке), но об этом нечего было даже и думать, нас бы сразу сцапали. Мы решили разделить на группы и разошлись в разные стороны. Со мной было еще двое: Витек (Гнутый) и Арсен (Немой). Из нас всех только я хоть как-то мог ориентироваться в этих местах. До этого я несколько раз был в Каспийске и один раз в аэропорту.

Витек был из Гродно, белорус. Он рассказал нам историю своей семьи. С войны вернулись отец Витьки и брат его матери. Начали потихоньку поднимать хозяйство. Мать его была беременна. И вот однажды она спустилась в подвал за чем-то, мужчины работали в огороде, а бабушка готовила еду. И в этот момент прогремел оглушительный взрыв, больше его мать ничего не помнила. Очнулась она в больнице, где ей рассказали, что мужчины случайно в огороде наткнулись на неразорвавшуюся авиабомбу. Все близкие ее погибли, а ее засыпало землей в погребе, это ее и спасло. Лишь чудом удалось ее извлечь оттуда живую, а через несколько месяцев родился Витек с дефектом позвоночника, отсюда и кличка Гнутый. Еще во время войны его тетя эвакуировалась на Кавказ и жила в Махачкале, сюда и позвала она свою убитую горем сестру, больше из родных у них никого не было. До первого класса Витек почти не выходил на улицу, и мы его не знали, а когда начали общаться, он всем сразу пришелся по душе и был безоговорочно принят в нашу компанию.

Арсен был родом из Сталинграда, по национальности татарин. Вся семья их погибла во время войны, а его вместе с глухонемой сестренкой привезла в Махачкалу бабушка, которая жила здесь всю жизнь. Он был старше нас, выше ростом, всегда молчаливый. Когда их видели вместе с сестрой, то те, кто не знал Арсена, думали, что они оба глухонемые. Но в драках или разборках он был всегда на высоте. Так же как и Витек, он пользовался нашим уважением, да и вообще мы были друзьями. Потихоньку пробравшись к морю, мы дошли берегом до Туралей, пока не стемнело. Там залезли в старый сарай на берегу моря и заснули, а утром вновь тронулись в путь и к вечеру были уже на вокзале в первой Махачкале. Мы сидели за насыпью и следили за тем, как формируются вагоны и какой состав отойдет первым. В то время не было ни тепловозов, ни электровозов, были паровозы, которые топились углем. Зимой мы залезали на паровоз ближе к топке, там было теплее, а летом забирались в какой-нибудь вагон, или под него, или на крышу вагона. Первая серьезная остановка была станция Хасавюрт. Как только подходил товарняк, туча беспризорников выпрыгивала из него и бросалась к базару. Бедные торгошники, как они орали, когда опустошали их лотки. Затем прибывала милиция и свистела. Кого-то ловили, кто-то удирал. И те, кому посчастливилось убежать, вновь сидели в засаде и ждали, когда подойдет очередной товарняк. Следующей остановкой был Гудермес, и повторялось все сначала. Для тех, кто смог миновать милицейский заслон в Гудермесе, дорога в Россию была открыта. Из Каспийской ДВК я сделал семь побегов, но только однажды добрался до Гудермеса. Никак я не мог перейти этот Рубикон. Не буду описывать, как нас ловили и водворяли обратно, как мы бежали снова и снова, как издевались над нами, как сажали в карцер, били и истязали.

И вот, продержав год и два месяца в Каспийской ДВК, нас отправили в селение Куртат в Северной Осетии. Я, конечно, тогда не мог предположить, что через двадцать лет буду сидеть в трех километрах от этого места – в поселке Дачном. Там я иногда лазил на крышу барака, откуда видна была ДВК, и вспоминал свое далекое детство. Продержали нас в Куртате недолго, несколько месяцев, пару раз мы пускались в побег, пытаюсь добраться до Орджоникидзе, но на полпути нас ловили. До города оставалось километров тридцать, а спрятаться было негде. В общем, помыкались с нами – и отправили в Ростовскую область, в город Шахты. Здесь было жить немного легче, но жажда свободы не оставляла нас. Однако при очередном побеге только я один добрался до Ростова. Голодный, измученный, грязный, я заснул прямо на газоне.

Смутно помню, как милиционеры на руках принесли меня в больницу, у меня был жар, я весь горел. А через восемь дней, когда температура спала, меня отправили в детский приемник. Как сейчас помню, он находился на улице Восточная, 49, потому что наш махачкалинский детский приемник находился на улице Пионерская, 49, и это на всю жизнь врезалось в мою память.

Целый месяц я придумывал разные адреса и фамилии в расчете выиграть время и убежать, но тщетно. Я понял, что одному мне не осуществить мой план, а вокруг никого не было, с кем можно было бы бежать. По крайней мере, я ни с кем не общался и доверять, естественно, никому не мог. А значит, и не было таковых, так как мы узнавали своих сразу. Не знаю почему, но интуиция не подводила меня никогда. В общем, пришлось сказать начальству правду, кто я и как попал к ним. На следующий день, после обеда, за мной прибыла машина. Как и положено в этом ведомстве, меня сдали с рук на руки и повезли – куда, нетрудно догадаться, опять перевоспитывать.

Сопровождающий был уже в годах, такой добродушный и разговорчивый мусорок. Не успели тронуться, как он тут же мне поведал, что по приезде в лагерь меня ждет сюрприз. Мне можно было этого и не говорить, ибо я все это хорошо знал. После очередного побега удары кулаков и дубинок надзирателей сыпались на меня как из рога изобилия. Но на этот раз я ошибся. Меня ждал действительно сюрприз, да еще какой! Оказывается, несколько дней назад сюда приехал мой отец, и за это время он уже успел поругаться с администрацией. Ему было сказано, что он воспитал не человека, а волчонка и что я уже две недели в побеге, меня ищут, а как найдут, доставят сюда. Отец понял и этот взгляд, и многозначительный намек. Зная структуру «воспитательных» заведений, ему нетрудно было представить, что меня ожидает. Пустившись на всякого рода ухищрения, где угрозой, а где и добром, отец смягчил удар, который должен был обрушиться на меня после поимки. Было еще одно обстоятельство, которое связывало руки как Хозяину, так и всей администрации подобных заведений. Я был в том возрасте, когда по закону меня не могли отдать под суд, так как мне не исполнилось еще 14 лет, и по требованию родителей меня обязаны были им вернуть.

Конечно, менты не знали, что отец сам освободился только две недели назад, ну, естественно, и предположить не могли, что мы друг друга еще никогда не видели, иначе, думаю, с ним был бы другой разговор. В то время, если тебя хоть пару раз вызвали к следователю, на тебя уже начинали косо смотреть. Ну а если ты отсидел, да еще 15 лет, об этом и говорить не приходится. Я часто представлял нашу встречу с отцом, но никак не думал, что она будет такой. Как только меня привезли в лагерь, тут же закрыли в карцер, чему я не преминул удивиться, ибо сначала обычно подвергали экзекуции, а лишь потом, чуть живого, бросали в карцер. Естественно, меня это обстоятельство приятно удивило, я почувствовал, что меня ждет что-то хорошее, но тем не менее, пока не прозвучал отбой, я был насторожен. Тот, кто подвергался подобного рода «процедурам», знает, что есть разница между тем, когда тебя начинают бить, а ты этого не ожидаешь или когда ты к этой экзекуции подготовился. Я, можно сказать, освоил эту науку в совершенстве. Утром за мной пришла уродливая женщина, что-то вроде обезьяны, ничего более омерзительного в образе женщины я не встречал, меня аж передернуло при виде этой дегенератки. Видно, она слишком хорошо знала о своем уродстве и поэтому с лихвой мстила пацанве. Как правило, особенно отъявленные негодяи имеют и соответственную внешность. Она так сильно схватила меня за шею, что я подумал – позвонок сейчас хрустнет, и так тащила меня до самого штаба. Затем втолкнула в кабинет и, не сказав ни слова, ушла. Прямо предо мной за столом, покрытым зеленым сукном, сидел Хозяин. Ничего примечательного в нем не было. Обычный мент, каких я уже повидал с десятков, правда, так близко Хозяина я видел впервые. «Ну что, набегался?» – было первое, что он спросил. Я, как обычно, стоял молча. Затем после трескучей и длинной тирады он сказал, что я всем надоел и, слава богу, приехал мой отец и забирает меня. Только тут я увидел, что в правом углу сидит мой отец, ошибиться было невозможно, я его тут же узнал: дома было несколько фотографий, а в свое

время я их достаточно хорошо изучил. Я видел, что там кто-то сидит, когда слушал Хозяина, но думал, что это кто-то из надзирателей, и после разглагольствования и нравучений этого «Макаренко» меня, как обычно, будут бить. Я посмотрел на отца и, когда тот встал, не выдержал и бросился в его объятия. Молча, как подобает мужчинам, мы стояли несколько секунд обнявшись, из оцепенения нас вывел голос Хозяина. «Благодари Бога, – сказал он мне наставительным тоном, – что отец приехал за тобой, иначе через месяц тебя за что-нибудь да осудили бы». 1 июня мне исполнилось 14 лет. Как потом рассказал мне отец, в сущности, Хозяин оказался неплохим человеком, пошел на многие уступки отцу, чтобы он забрал меня, минуя некоторые формальности. Хотя уже тогда я был твердо убежден в правоте уличной поговорки: «Хороший мент – это мертвый мент», так как еще в детстве столько натерпелся от них, как будто я был закоренелый преступник. А по сути, я еще никаких серьезных правонарушений не сделал. Если же за то, что ребенок ворует, чтобы наесться, общество считает его преступником, то, без сомнения, я был им. Однажды один очень неглупый человек, анализируя мое уголовное прошлое, разложил перед собой кучу томов моего дела и сказал: «Эх, Заур, как же ты не понял до сих пор, что они сызмальства начали мучить тебя только потому, что предчувствовали, сколько ты принесешь им еще хлопот в жизни. Так что ты не должен быть на них в обиде, вы, по большому счету, квиты. Смотри, оказывается, какие провидцы у нас тогда в органах работали, а я и не знал». Насчет того что мы квиты, я, конечно, не согласен. После общения с этим следователем меня и моего друга суд приговорил к расстрелу. У немцев существовало изречение, оно было написано на воротах концлагеря Бухенвальд: «Каждому свое». Это изречение вполне подходит и в моем случае. Впервые я обрел свободу на законных основаниях. Но самое главное – я обрел отца, которого отродясь не видел. И вот тут я невольно подумал о странностях судьбы и о том, как неожиданно может измениться твоя жизнь. Как описать те чувства, которые нахлынули на меня при встрече с отцом? Возможно, кто-то и смог бы написать об этом, но у меня вряд ли получится.

Отец приехал на машине. Раньше приехать он никак не мог, он был на свободе всего полтора месяца. Ему дали 101-й километр – это означало, что в Махачкале он не мог ни жить, ни прописаться, мало того, ближе 101-го километра он не имел права появляться, и с этим нельзя было не считаться, так как эти правила очень строго соблюдались. Тогда он нашел фронтовика – командира своего отца, тот работал сторожем у хачика, и, как рассказывал отец, это ему помогало открывать ногой двери почти любых кабинетов. Вот он и помог отцу, помня о своем друге и однополчанине, и даже устроил на работу – возить какого-то хакима, куда с судимостью вообще не брали. Вот на этой машине отец и приехал за мной. Перед отъездом мы купили кое-что из еды и курева моим корешам. Отец все передал, меня же к ним не подпустили. Отец пообещал ребятам, что по приезде домой посодействует, чтобы их забрали отсюда. На том, простившись, мы уехали, а на следующий день уже были дома.

Через месяц после освобождения мне исполнилось 14 лет. Отец все время внушал мне, что с детством пора проститься, что я уже подсуден и в любое время могу оказаться на скамье подсудимых. Я, естественно, всегда внимательно слушал его, особенно когда его нравучения дополнялись всякого рода рассказами о жизни заключенных на Севере, где он провел немало лет, но поступал все равно по-своему.

К сожалению, в юные годы мы часто забываем, что на свете есть люди не глупее нас и всегда найдутся любители поохотиться за другими людьми: сыщики и тюремщики все время начеку. Оглянуться не успеешь, и тебя уже схватили. И от этого не уйти тем, кто ворует, это удел каждого вора.

Глава 3 Тюрьма

Итак, близился к концу 1961 год, со своими реформами и преобразованиями как в Уголовном кодексе, так и в преступном мире в целом. Десятилетиями позже люди ностальгически будут вспоминать это удивительное время и хрущевскую браваду с его знаменитым заявлением, что в 1970 году выйдет из ворот лагеря последний заключенный. И ведь были просто-душные люди, которые верили в это. Но мы, юные узники Махачкалинского равелина, не знали об этом его изречении, а если бы и знали, все равно бы не поверили, ибо уже начали понимать, что такое тюрьма, и уже столкнулись в ней с подлостью и предательством, хотя и были еще почти детьми. Чтобы читателю было ясно, о каких реформах идет речь, я постараюсь вкратце описать их. До 1961 года разницы в режимах не существовало. Сидели все вместе – зеки и первой, и десятой судимости. Лишь только воры и самые отъявленные нарушители находились на спецзахватах и в крытых. Спец – это лагерь, внутри которого находились бараки, где содержались заключенные, но под замком, этакая тюрьма в тюрьме. Уже позже, после 1961 года, спец переименовали в особый режим. Особых режимов было два вида: открытый и закрытый. Открытый особый режим давали со свободы. На закрытом же сидели те, кто получил срок уже в лагере, как говорили, раскрутился. Со свободы закрытый особый режим тоже давали, но очень редко, обычно за особо тяжкие преступления. Отличались они лишь тем, что на закрытом не выводили на работу. Также существовал тюремный режим (крытая). За особо тяжкие преступления его давали также и со свободы, но крайне редко. В основном в крытую отправляли на срок до трех лет (из того срока, что оставался, за нарушения режима) лагерным судом. Но опять-таки в основном это были либо воры, либо люди, придерживающиеся воровских идей. То же самое относилось и к малолетним заключенным, то есть к тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Тут также сидели все вместе. Замечу, что у некоторых было по две, редко и по три судимости, а им еще не исполнилось, повторю, и 18 лет. Здесь, так же как и у взрослых, самых отъявленных нарушителей отдельным лагерным судом, с обязательным участием прокурора и судьи, отправляли на спецзахват. Крытой у малолеток не было. Но, по мнению всех зеков и по моему личному мнению, уж лучше было сидеть по несколько раз на взрослых спецзахватах и крытых, чем один раз на малолетнем спецзахвате. В то время это знали все, в том числе и воры, и того, кто проходил этот ад с достоинством, ждало большое воровское будущее. В Советском Союзе было два специа малолеток: в Нерчинске, в двухстах километрах от Читы и почти столько же километров от китайской границы, и в городе Георгиевске Ставропольского края. К сожалению, оба эти земных ада мне пришлось познать с лихвой и пройти через них, но об этом чуть позже. А пока мы пробыли, как и положено, трое суток в КПЗ (камера предварительного заключения), в подвале МВД, который строили пленные немцы и откуда, насколько я знал, не было ни одного побега. Затем нас привезли в тюрьму. Прошлое скрылось вдали, будущее было неведомым, осталось одно настоящее – тюрьма! Как много сокрыто в одном этом слове. И как бы его ни трактовали, как бы ни переименовывали – в острог, крепость, цитадель или следственный изолятор, – людям, содержащимся здесь, это абсолютно безразлично. Тюрьма всегда остается тюрьмой. По прошествии сорока лет трудно вспомнить, какое впечатление произвела тогда на меня тюрьма. Думаю, особых эмоций и волнений я не пережил. Как я уже писал ранее, мы росли на улице, а там, кроме как о тюрьме да о воровских законах, почти ни о чем не говорили. Да и два года, проведенные в трех лагерях, хоть и в детской колонии, все же оставили заметный след в моем юном сознании, да и научили немало. Для своих 14 лет я уже много выстрадал. Постоянные лагерные разборки, драки, неудачные побег и следующие за ними карцер и избиения надзирателями уже потихоньку начали закалять мой характер. Мы хотели походить на тех людей, которые страдали за Идею, но на попятную не шли. Конечно, мы тогда и представления не

имели, что собой представляет идейный человек. Но все же одно знали точно: раз стал на этот путь, то иди, как подобает мужчине, и терпи, но ни в коем случае не ломайся. Так нас учили на улице взрослые, они были нашими кумирами, и почти всегда это были воры.

Человек верит тому, во что хочет верить. Одним словом, я уже знал, кто я такой, знал, как входят в тюрьму и в камеру. Знал или почти знал, хоть и по рассказам, ее законы, а это, смею заметить, было уже немало. Я был здесь почти свой, только меня пока никто не знал. Нужно было себя как-то проявить, я хоть и не знал как, но догадывался. Я был еще слишком молод, недостаточно умел владеть собой, пока еще не мог высказать то, что я чувствовал. У меня было только короткое, но довольно жестокое прошлое, мрачное настоящее и неведомое будущее. Но я твердо знал, насколько может предположить юнец в 14 лет, что путь мой будет тернист и я все сделаю, чтобы пройти его достойно. Я старался не думать о будущем и решил целиком посвятить себя настоящему. Был я, конечно, по-детски беспечен и наивен, но в то же время старался быть стойким перед всякого рода испытаниями.

Итак, впервые я переступил порог махачкалинской тюрьмы, да и вообще тюрьмы, в возрасте 14 лет 6 месяцев и один день. Но прежде чем продолжать свое повествование, мне бы хотелось поинтересоваться у людей, знают ли они, что такое тюрьма? Другой вопрос: нужно ли им это? Уверен, ответ будет звучать положительно, а посему продолжу. Уверен также и в том, что даже те, кто сидит в тюрьме, до конца ее не знают. Исключение составляют единицы, а это опять-таки либо воры, либо Х-люди, но я их пока не называю.

Тюрьма – это свой мир, со своими законами, со своим кодексом чести, это жестокая школа, пройти которую, по большому счету, может не каждый, ибо сидеть можно по-разному. И я думаю, что стоит немного рассказать об этом мрачном институте. Изначально тюрьма – это воровской дом, и законы здесь воровские, это аксиома в преступном мире. И коль попал в ее стены, неважно за что, это никого не интересует, будь любезен – соблюдай ее законы. Никто тебя не заставляет жить по ним или их придерживаться, но блюсти их обязан каждый. В любой тюрьме должен быть человек, который отвечает за порядок, за общее положение, за жизнь всех зеков в ее стенах. Его называют положенцем, а если тюрьма большая, то могут быть положенцы разных корпусов, независимо от того, есть в тюрьме вор или нет. Кто такой вор, я разьясню позже, а пока расскажу, кто такой положенец.

Воры на сходке решают, кому из контингента бродяг, находящихся в данный момент на центральной, можно доверить тюрьму, а после принятия решения посылают прогон с именем или кличкой, если таковая имеется, того, кому доверят тюрьму. Если в тюрьме нет воров, то они подъезжают со свободы. И все, что бы они ни сказали, будет в тюрьме беспрекословно принято.

Слово воровское не обсуждается, оно выполняется. Затем тот, кому оказана честь смотреть за тюрьмой, пишет прогон от имени вора или воров, которые приехали в тюрьму. Прогон проходит по всем камерам, кроме обиженных и легавых, и в каждой камере с ним знакомят контингент, зеки подписываются, что ознакомились с посланием, и посылают дальше. Обойдя тюрьму, прогон возвращается назад. Если вор в тюрьме, прогон посылают дорогой. Если вор на воле, то с верным гонцом прогон отправляется на свободу. Воры с ним знакомятся и уничтожают, уничтожить прогон может только вор. Бывает так, что ни в тюрьме, ни поблизости воров нет. Все равно кто-то из «достойных» должен взять на себя этот груз и поставить в курс дела бродяг, чтобы на центральной при первой встрече с вором дать отчет в своих действиях. При любом раскладе тюрьма без воровского присмотра не останется. В тюрьме положенец имеет почти такие же права, что и вор, с одним исключением – он не вор. Любой арестант в тюрьме имеет право обратиться как к вору, если он есть, так и к положенцу, либо за советом, либо с просьбой, либо с жалобой, и святая обязанность и того и другого не только ответить арестанту, но и приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить его просьбу или жалобу. Все, что мною выше написано, служит арестантам залогом справедливости и участия в их судьбе, то есть как бы соблюдения воровского закона. Так было, так есть и так должно быть в тюрьме. И

не следует заблуждаться на этот счет. В последнее время те, кто следовал по этапам, встречал на пересылках, а иногда и непосредственно в тюрьмах всякую нечисть. Пользуясь незнанием зеками воровского кодекса и тюремных законов, эти самозванцы выдают себя за воров или положенцев, называют себя бродягами и творят полный произвол и беспредел. Конечно, это до поры до времени. Рано или поздно им придется за все ответить, и редко кто из них останется в живых. Они прямые кандидаты на тот свет, им не стоит обольщаться, что их действия окажутся безнаказанными. И что порой иногда меня бесит, так это то, что некоторые зеки, считающие себя бродягами, могли бы что-то предпринять, видя, что творят эти подонки, но они не противодействуют подлецам. Одни по малодушию надеются, что пронесет, другие сомневаются в отношении самой Идеи, но виду не подают, этикие лисы с пушистыми хвостами, сидят и выжидают. Хочу дать совет. Прежде чем принять то или иное решение, человек, именующий себя бродягой, должен знать: где бы ни произошел инцидент – в тюрьме, в лагере, на свободе, – влекущий за собой насилие, произвол или беспредел, позорящие и идущие вразрез с воровскими устоями, рано или поздно лукавого человека ждет наказание. И совсем не обязательно, чтобы он был непосредственным виновником событий. Главное, что он мог предотвратить зло, но не приложил никаких для этого усилий.

Общение в тюрьме между камерами, корпусами, да и вообще между тюрьмами происходит посредством маляв (записок), очень тонко скрученных в виде половинки сигареты. Она обернута целлофаном и запаяна со всех сторон. Всех арестантов оповещают прогоном. В тех случаях, когда хотят известить их о передвижении воров, о голодовке или о ее снятии, о запрете на что-либо, да и в других случаях, касающихся общего контингента. К примеру, в 90-х годах почти весь конвой, который сопровождал арестантов из всех московских тюрем: на суд, или следствие, или еще куда-то – продавал таблетки радидорм иреладорм – короче, снотворное. После их употребления люди буквально теряли голову и бог знает что вытворяли. Долго это продолжаться не могло. Летом 1996 года я находился в Матросской Тишине и был на положении в тубанаре (отдельный туберкулезный корпус). Так вот, от воров пришла малява, в которой говорилось: оповестить контингент централа прогоном – таблетки запретить, не покупать их и не употреблять. Я сам писал тогда один из таких прогонов. В скором времени результат не замедлил сказаться, и, естественно, в лучшую сторону. Насколько я знаю, до сих пор в тюрьмах употребление этих препаратов находится под запретом, а вот о продаже этих лекарств не знаю.

Прогон пишет вор или положенец, его составляют скрупулезно и продуманно, так как он должен быть простым и понятным для всех, а это, уверяю, сделать не так-то просто. Слишком хорошо надо знать воровскую жизнь, и в частности тюремную, чтобы грамотно написать прогон. Обычно администрация, либо кум (оперуполномоченный), либо Хозяин (начальник) постоянно общаются или с ворами, или с положенцами. Они-то лучше, чем кто-либо, знают, кто в тюрьме настоящий хозяин, и во избежание всякого рода эксцессов идут на вынужденные уступки. Человеку непосвященному трудно понять, окажись он случайным свидетелем разговора кума или Хозяина с вором или положенцем, о чем идет речь. И идет натуральный торг (в хорошем смысле этого слова), каждый отстаивает свое, с неохотой идя на уступки и при всем этом соблюдая правила игры той стороны, к которой он относится. Что отстаивает администрация, нетрудно догадаться. Воры же и бродяги отстаивают общие блага для всех арестантов. И горе тому, кто покусится на общее, – его неминуемо ждет смерть. Хоть тюремные законы на работников милиции и им подобных, севших за что-либо, не распространяются, но тем не менее я наблюдал в некоторых тюрьмах, как они из своих камер посылали взгревы на общак. А почему? При поступлении в тюрьму они сидели вначале отдельно и приходили в себя, им, конечно, не хватало еды, курева и чая. И им не отказывали в этом, а по возможности посылали что они просили. Мы всегда старались помочь тому, кто в этом нуждается, а в данном случае расчет был прост. Времени для размышлений в тюрьме хватает, вот и они начинали потихоньку понимать, что воровские правила всегда справедливы и честны.

В тюрьме никогда не откажут в куреве – это неписаное правило, так что любой может всегда смело обратиться с такой просьбой, зная заранее, что отказа не будет, за исключением тех редких случаев, когда его нет. Чаем могут не всегда поделиться, это по ситуации, но в куреве не откажут никогда. Я имею в виду, естественно, личные запасы, что же касается общаков, то об этом будет отдельный рассказ.

Глава 4

Законы тюрьмы

В начале 1997 года я сидел в Бутырках, в камере 164а, которая находилась в корпусе под названием «аппендицит», и я смотрел за положением в этом корпусе. В то время в Бутырках находилось постоянно 10–12 воров: Дато Ташкентский, Коля Якутенок, Дато Какулия Тбилисский, Богдан Махачкалинский, Точа Мамаладзе – Боквер, Авто Сухумский, Гриша Серебряный (он в Бутырках и умер), Степа Мурманский, Гия Црипа, Славик Паки – Гудаутский, Туга Тбилисский (кстати, к нему в тюрьме и «подошли», ведь он был подельником Дато Какулии), Тимур Кутаисский – Мане. Бутырки – это целый мир, второй такой тюрьмы нет, это уж точно. Первый раз я попал сюда еще в октябре 1974 года, сидел я тогда на малом спецу. Через стенку, помню, сидел Монгол (ныне уже покойный), который к Япончику заходил. Кстати, Япончик тоже в то время сидел в Бутырках, только вором он еще не был. Так вот, на этот раз я заехал сюда в марте 1996-го, то есть спустя 22 года, и просидел до апреля 1998 года. Один раз меня вывозили в Матросскую Тишину, на тубанар, из-за «процесса», связанного с моей болезнью – туберкулезом, но через пять месяцев я вновь был здесь. Однажды я невольно подслушал спор между моими сокамерниками, они были еще молодыми, самому старшему из них было 30–35 лет.

На меня не обращали внимания, уже давно все привыкли видеть во мне представителя старых воровских традиций. Я всегда был рад, когда велись дискуссии тюремного толка, ведь они способствовали развитию в людях чувства справедливости, благо вели спор люди одного со мной круга. Так вот, вопрос стоял непростой: какую тюрьму можно назвать хорошей, если ее вообще можно так назвать? Соображений по этому поводу, конечно, было много, но к общему мнению мои сокамерники так и не пришли. Я сидел, устремив свой взгляд в никуда, вспоминая пройденные мною по тюрьмам этапы своей жизни. Уверен, что лет этак 15–20 назад такой вопрос никого бы из арестантов в тупик не поставил, но сейчас было другое время. Конечно, я рад тому, что сейчас люди не знают, что такое голод, и дай-то Бог, чтобы никогда не узнали. Мои сокамерники не спросили меня, что я об этом думаю, но я все равно считал нужным высказать свое мнение. Я сказал им, что хороша тюрьма тогда, когда в ней хлеба вдоволь. Тогда и с режимом все ладом, и движение, и положение на должном воровском уровне. Ни для кого не секрет, что спиртное, наркотики – в общем, то, что запрещено, в тюрьму доставляет кто-то из ее работников, но цена всегда одна и та же и никогда не бывает никаких торгов. А почему? И та, и другая сторона знают, что цены на любой запрещенный продукт устанавливаются ворами и никто не вправе заплатить больше, как бы ему ни хотелось получить желаемое, так как у одних большие возможности, у других они ограничены, у одних много денег, у других – копейки. Справедливость должна быть во всем и для всех.

Когда я бывал на свободе, частенько в чьей-то беседе слышал такое выражение: он был в тюрьме или на зоне паханом. Конечно, это мог сказать только человек, не побывавший в неволе. Но я, как правило, вообще не вмешивался в разговор, потому что объяснять им это ни к чему, да, думаю, и не надо, могут понять неправильно. Нет и никогда не было ни в тюрьме, ни в лагере и вообще в преступном мире такого выражения. Изначально были и есть в преступном мире три категории, или масти: вор, мужик и фраер. Все остальное – фантазии, да и только. Мне приходилось вначале 70-х бывать на Севере, на Дальнем Востоке, в Сибири, в

лагерях и на пересылках я встречал разную «шерсть лохматую»: и с ломом за поясом, и «раковых шеек», и «красных шапочек». Всегда и везде это была нечисть. Вполне возможно было, что слово «пахан» позаимствовано из уголовного прошлого, ведь одно время администрация тюрем практиковала подсаживание в камеры к малолеткам воспитателей.

Но на роль воспитателя брали обычно обиженных, из взрослых камер общего режима. Ничем хорошим, естественно, это не заканчивалось, так как малолетки еще ревностнее, чем некоторые взрослые, отстаивали чистоту Идеи, хотя толком понять законы они, конечно, были не в силах. Узнать же, что собой представляет тот или иной арестант, всегда было проще простого, ибо связь между тюрьмами не прекращается ни днем ни ночью. А узнав, кто такой воспитатель, его, мягко говоря, отправляли из камеры «в юбку». Крайне редко воспитатели приживались, но это были, как правило, люди интеллигентные, да и в годах. Естественно, о них ничего плохого услышать не могли, а почтенный возраст и хорошее воспитание почти всегда внушали уважение, к ним и малолетки относились доброжелательно.

Камера – это тюрьма в миниатюре, и в ней, так же как и во всей тюрьме, есть человек, который смотрит за порядком и за все отвечает: либо перед положенцем, либо перед воров. В тюрьме все взаимосвязано и ничто не остается без внимания. Хочу также заметить, что порядочному человеку тюрьмы не следует бояться. Что касается людей из преступного мира, то они уже сделали свой выбор и знают сами, к какой касте этого мира принадлежат, и никто другой, я уверен, не станет их перевоспитывать. Я же хочу дать совет людям, впервые попавшим в тюрьму. После карантина вы попадаете в камеру. Если в камере много каторжан, то есть людей, уважающих законы тюрьмы, то вам заварят чифир, это традиция в тюрьме, затем покажут свободное место. Не будьте скованны, раскрепоститесь и помните – вы попали в воровской дом. Здесь не терпят лжи, высокомерия, бахвальства, лицемерия и прочего. Будьте же самими собой и в общих чертах расскажите о причинах вашего пребывания здесь. При этом сразу поинтересуйтесь правилами поведения в камере, то есть тюремными правилами «хорошего тона». Этим вы расположите к себе сокамерников, так как скромность и простота, свойственная бродягам, приветствуется в тюрьме. Не стесняйтесь спросить о том, чего вы не знаете или в чем-то сомневаетесь. Никогда никому не рассказывайте то, из-за чего впоследствии можете пострадать. А если видите, что кто-то слишком любопытен, опасайтесь его, но виду не подавайте. Очень трудно в тюрьме доказать суке, что он сука, а вот самому пострадать можно, и даже очень серьезно. Если у вас возник какой-либо конфликт с кем-то из сокамерников и вам либо предложили, либо самому взбрело в голову покинуть камеру, не делайте этого ни в коем случае. Человек, покинувший камеру, считается, мягко говоря, не порядочным, на него смотрят косо, с недоверием, и он уже никогда не сможет пользоваться уважением ни в лагере, ни в тюрьме. Что бы ни случилось, запомните: в тюрьме все можно разрешить мирно, путем диалога, без всякого рукоприкладства. А для этого обращайтесь всегда к людям, которым доверено смотреть за порядком, либо непосредственно к вору. Никогда не пускайте в ход кулаки, каким бы правым вы себя ни чувствовали, из-за рукоприкладства люди отвернутся от вас. Драка не только в тюрьме, но и во всем преступном мире не поощряется, а драчуны всегда строго наказываются, а иногда и очень жестоко. Думаю, что в общих чертах я смог рассказать читателю, что такое тюрьма. Что же касается деталей и подробностей тюремной жизни, то с ними вы можете познакомиться в дальнейшем, на страницах моей книги.

Я написал о тюрьме в самых общих чертах, но не коснулся одного из главных составляющих могучего механизма подавления человека – малолетки.

Без малолетки не может быть полного представления о тюрьме. Это совершенно обособленный мир, со своими законами. С общими законами тюрьмы они расходятся и лишь в каких-то деталях соприкасаются.

Перед новичком при входе в камеру стелили полотенце. Если вновь прибывший поднимал его, значит, сам он уже, пока не освободится, подняться не сможет, так как он не знает

законов преступного мира. Всем было ясно: он не рос на улице, не воровал, не беспризорничал и сюда попал по чистой случайности. Если бы он жил, как мы, на улице, то, естественно, знал бы, как зайти в камеру. Вот такая простая логика определяла наше сознание. И как я писал ранее, мы жили на улице обособленно, потому что общество почему-то считало нас изгоями. Вероятно, из-за наших близких, которые сидели в тюрьме. Вот мы и мстили как могли этому обществу за пренебрежение к нам, ведь детям из благополучных семей даже играть с нами было запрещено. Если же новичок вытирал об это полотенце ноги, то его принимали как своего, тем не менее задавали некоторые вопросы, чтобы убедиться в этом наверняка. Иногда попадались новички, которых мы знали раньше. Город в то время был маленький, и те, кто рос на улице, почти все друг друга знали. Да и место сбора у всех нас было одно – биржа. Что же касается правил поведения в малолетке, то здесь подросткам трудно было отказать в изобретательности. Нельзя было курить «Приму», потому что пачка была красной. Вообще все красное выбрасывалось в парашу. Тот, кто хотел справить нужду, должен был об этом громко оповестить – все продукты тут же убирались. Если же недоглядели и что-то не спрятали, то все летело в парашу, а того, по чьей вине это произошло, наказывали. Спускаясь с нар, ты не должен был дотронуться голой подошвой пола, без носка, за это тоже наказывали. В общем, правила были очень строгими и, конечно, абсурдными, но их выполняли все без исключения. В то время с питанием было тяжковато, тюремная баланда, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Да и с куревом было тяжело. В основном курили табак и махорку. Сигареты можно было купить лишь в ларьке, один раз в месяц, на 10 рублей, если, конечно, на личном счету у тебя были деньги. Передачу разрешали один раз в месяц – пять килограммов, сигареты заставляли рвать. Тем не менее, получив передачу, мы тут же делили все пополам и отправляли половину на спец, ибо знали, как там тяжело. Мы понимали чужую боль и горе, хоть и сами были еще детьми, да и находились почти в равных условиях. Улица с детства учила нас взаимовыручке, мы учились понимать чужое горе и всегда по мере возможности старались его смягчить. Вот пишу эти строки и вдруг вспомнил один инцидент, который произошел на Владимирском центральном. Это было в апреле 1998 года, мы шли этапом из Бутырок в туберкулезную зону в город Киржач Владимирской области.

Владимирская тюрьма промежуточная. Но есть и вторая – крытая, она рядом, отсюда идет распределение. Нас временно посадили в транзит, как и положено. Надо отдать дань справедливости администрации тюрьмы, я уже не помню, чтобы так кормили чахоточных, тем более в транзитной камере. Так вот, этажом выше сидели малолетки. Как только нам дали обед, они в кабур в потолок начали лить воду, пока мы им не послали ножки от курицы, которую давали нам на обед, привязав их за нитку, которую они спускали сверху (кабур – это дырка либо сделанная в стене, либо в потолке, чтобы делиться табаком, чаем, передавать всякого рода корреспонденцию – в общем, промежуточный этап сложной тюремной дороги). Если по каким-либо причинам малолетки не получали желаемого, они сверху заливали туберкулезников водой. Со мной этапом шли люди, которые тоже немало испытали и много насмотрелись за свою арестантскую жизнь, но такого ни я, ни они никогда не видели. Слушать нас они отказывались, мало того, еще и оскорбляли, а сказать администрации мы, конечно, не могли. Пришлось применить смекалку, чтобы прекратить это безобразие, но в душе остался отвратительный осадок. Я не социолог и не берусь определить, почему в плане морали, нравственности и доброты дети послевоенного периода резко отличались от нынешнего поколения. Но мне кажется, главная причина в воспитании, а не в самой жизни, даже если она очень тяжелая. А воспитание детей почему-то принято у нас ставить на второй план. Сразу после войны жизнь была намного хуже во всех отношениях: ведь почти везде жили впроголодь, почти в каждой семье было свое горе, почти половина безотцовщина. Как трудно было матерям одним тянуть семью, вот потому и детей воспитывали так, чтобы они с раннего детства понимали тяготы жизни взрослых. Любая мелочь тогда имела значение и никакие серьезные проступки роди-

тели своим детям не прощали. Глядя на то, как сейчас живет и что творит молодежь, я сравниваю их с нами, и сравнение это далеко не в пользу нынешних юнцов. Наркомания, пьянство, разврат, какая-то непонятная тяга к оружию! Что это? Необходимые атрибуты жизни нынешней молодежи? Нет! Это в первую очередь отсутствие должного воспитания, отсюда и все их ужасные поступки, за которыми неизменно следует тюрьма. Если мы в свое время росли на улице и у нас не было в достатке ни еды, ни одежды, не говоря уже об игрушках, и поэтому нас считали кандидатами в тюрьмы, то нынешнее поколение, ни в чем не нуждаясь и даже имея излишки, само лезет в тюрьму Я специально привел пример с нынешними малолетками и описал некоторые стороны тюремной жизни, чтобы молодежь знала, что их ждет в тюрьме, если они будут иметь несчастье там оказаться. Тюрьма – это абсолютно другой мир, отличающийся от всего того, что они видели ранее. Здесь выживают немногие, по большому счету, остаются жить единицы, если можно назвать жизнь в клетке жизнью, даже если клетка золотая. Пусть горькие истории, которые читатель прочтет на страницах этой книги, послужат уроком для многих молодых людей и их родителей.

А теперь мне бы хотелось вернуться назад, в свое отрочество. Естественно, как уже читатель мог догадаться, принят я был в камере как и положено. Некоторых я знал по свободе, а главное – они знали меня. Думаю, не стоит описывать, что мы тогда вытворяли. Ни карцер, ни «рубашки», ни побои нас не останавливали. Уже тогда я стал понимать, какая большая сила – коллектив. Возможно, ни один из нас не сделал бы то, что мы вытворяли вместе, правда, и страдали вместе. Так почти незаметно пролетело три месяца, и я впервые предстал перед судом. Дали мне тогда три года, а через месяц я уже шел по этапу, тоже впервые в своей жизни, и это я забыть не могу. Все, что я тогда познавал, было впервые, а было мне тогда неполных 15 лет. Но я считал себя уже взрослым и не пугался предстоящих испытаний, знал, что они будут, был готов к ним.

Глава 5

Воспитание малолеток

Дождь, туман, слякоть – такой непогодой встретила нас одна из ТКН (трудовая колония несовершеннолетних) Краснодарского края, раскинувшаяся в живописном уголке, вдоль реки Белой, у подножия огромного лесистого холма. По приезде нас посадили в карантин и, не дав даже отдохнуть, целый день по очереди вызывали в администрацию. Лишь к вечеру оставили в покое. Уставшие, мы тут же заснули, даже не разобрав толком постельные принадлежности.

Целую неделю мы находились в карантине, и за это время, наверное, не осталось ни одного сотрудника колонии, к кому бы нас не приводили, начиная от начальника и кончая старшиной по хозяйству. Процедура эта была мне почти знакома, поэтому особенно удивляться не приходилось. Все кабинеты находились рядом с вахтой, так же как и карантинное отделение, поэтому лагерь мы не видели, а вот когда нас повели в баню, то пришлось идти через всю зону. И вот здесь-то было чему удивляться. Я нигде не видел ничего подобного, даже в кино. Всюду царила идеальная чистота и порядок, нигде не видно ни клочка бумаги, ни окурка. Шеренга из 50–60 человек, маршируя, выбивала мощную дробь, на лицах подростков было такое выражение, что, казалось, еще немного – и они пойдут в атаку и их никто не остановит. Мы по-своему были поражены, ведь здесь нам придется отбывать срок. Впрочем, слово «мы» требует оговорки, так как, кроме меня и Совы, никто особо ни на что не обращал внимания: либо остальным малолеткам все было безразлично, либо у них была своя позиция на этот счет. Что же касается Совы, то это был, есть и, дай Бог, чтобы еще долго был, мой друг Саша Савкин. Познакомились мы в дороге и даже успели подраться в армавирской тюрьме. Выехав из Махачкалы, мы заезжали по дороге в армавирскую и краснодарскую тюрьмы, в результате в дороге были почти месяц. По тем временам собрался большой этап – 47 человек. И за это

время Санек был единственный человек, с кем я сдружился, и, как показало время, всю жизнь был верен нашей дружбе. Никогда и нигде он не предал и не бросил меня, так же как и еще двое наших друзей, но об этом чуть позже, а пока...

После некоторых наблюдений мы стали убеждаться в том, что нас ждут не только большие испытания, но и кое-что похуже. Но мы были готовы ко всему и потому находились постоянно настороже, даже спали по очереди, и, как показало время, наши опасения были не напрасны.

Но прежде чем продолжить свое повествование, мне бы хотелось коротко описать лагерь для малолетних заключенных. В то время в Советском Союзе все лагеря для малолеток были одинаковыми. Режим содержания, правила внутреннего распорядка, численность и состав актива делали их удивительно похожими. В лагере было четыре-пять отрядов, каждый делился на три отделения, по 50–60 человек в каждом. Отделения, в свою очередь, делились на звенья по 8-10 мальцов. Главой всего актива был бугор (председатель), затем шел секретарь, его помощник, ну и далее по иерархической сучьей лестнице – в общем, треть отделения был актив. То же самое было в масштабе отряда и всего лагеря в целом. Тех, кто не был в активе, называли рядовыми и рабами – в зависимости от того, какой статус им определит актив после прописки. Но в активе они не состояли не потому, что у них не было способностей для тех действий, которые были нужны начальникам колонии. Тех немногих, кому претил образ жизни активиста, с самого прихода этапа в зону подвергали такому психологическому и физическому воздействию, что выдержать все эти издевательства и пытки мог далеко не каждый. Выдержать – это значило и в актив не вступить, и не допустить, чтобы тебя опустили.

В колонии была еще одна категория – это блатные, но их было немного. Они никому не подчинялись, никого не слушали, довольно часто дрались, и актив их боялся, поэтому они постоянно сидели в ДИЗО (дисциплинарный изолятор). Но ни блатные и никто вообще не могли бы помешать активистам вести свою пропаганду. Видно, нужно было, чтобы в колонии были и пастухи, и овцы, и волки. В общем, лагерь являлся вотчиной актива, а точнее, бугров, так как всем заправляли именно они. Администрация была просто сторонним наблюдателем всего того бесчинства и беспредела, который творили эти «юные стражи режима содержания». Процедура приема вновь прибывших, или, говоря лагерным языком, прописка, была следующей: после недельного пребывания в карантине пацана вызывали на так называемый совет, во главе которого восседал бугор зоны и все бугры отрядов и отделений. Заседал сей совет либо в кабинете начальника отряда, либо в кабинете воспитателя, либо вообще в сушилке – в общем, в большом помещении, чтобы было где поместиться этой своре шакалов. И вот заводят вновь прибывшего, при этом сесть негде, поневоле приходится стоять, минуты две-три царит зловещая тишина. Это входит в процедуру прописки. При всем при том кто стоит перед ними, они приблизительно знают, так как наблюдали за новичками в карантине. При этом, естественно, сами наблюдатели оставались незамеченными, это даже как бы вменялось им в обязанность. Ну а в случае надобности администрация предоставляла буграм любое личное дело осужденного.

Так вот, после длительного молчания раздается вопрос: «Вор или баклан?» При этом кто-то как бы невзначай подсказывает, что есть альтернатива. То есть если ты назовешь себя воспитанником, то беспрепятственно пойдешь в зону и тебя никто не тронет. Если же скажешь «вор» или «баклан», то бьют до тех пор, пока не переменишь свое мнение и не скажешь «воспитанник». Пацаны, еще не искушенные, если сидели за воровство, обычно говорили – вор, за хулиганство – баклан. Ну а если кто-то не хотел называться воспитанником, то его после этой процедуры отправляли не в зону, а в санчасть. Можете себе представить, как 10–12 разъяренных молодых тиранов топчут тебя ногами, бьют поленьями, ломают о тебя табуретки и... не могут добиться ни одного слова. Откуда у этих юнцов такая жестокость, бесчеловечность, лютая жажда чужой крови? Где и когда эти активисты могли увидеть столько несправедливости, чтобы их сердца так ожесточились? Они были простыми марионетками хорошо отлаженной системы порабощения ГУЛАГа, которая, начиная с четырнадцатилетних пацанов и кончая

особо опасными рецидивистами, давила, топтала, душила человека. Мало того, официально вся эта «красная» свора считалась «лицами, ставшими на путь исправления». Ниже я постараюсь рассказать читателю, приоткрыв завесу многолетнего запрета, что вытворяли эти так называемые исправленные.

Территория лагеря напоминала большой плац. Вскоре после подъема и до отбоя на нем маршировали малолетки, и не просто маршировали, а еще и с песнями. Подметки от сапог или ботинок в буквальном смысле отлетали, пацаны падали в изнеможении от трех-четырёхчасовой пытки без отдыха, но это никого не интересовало. Для тех, кто командовал, те, кто маршировал, были рабами. Одному запрещалось не только ходить, но и стоять, это считалось строгим нарушением режима, везде только строем – в составе либо отделения, либо звена. Если где-то на территории, отведенной определенному отделению, находили окурки, его всем отделением шли хоронить. Думаю, такой идиотизм мог прийти в голову только дегенерату. Приносили носилки, в них насыпали землю, а посередине клали найденный окурки. Затем траурное шествие, оглашаемое разного рода дурными возгласами всего отделения, сопровождало четверых, несших носилки-гроб к месту захоронения, где несколько человек рыли яму-могилу. Если кто-то из рабов смел огрызнуться на бугра, то его, бедолагу, загоняли в общественный туалет и, избив ногами (поднимать руку в туалете на раба они считали ниже своего достоинства), заставляли чистить сортир до блеска, проверяя затем работу белой тряпкой. Если же недовольство проявляло несколько человек, то все отделение загоняли в спальню, под нары. В помещении было два ряда двухъярусных шконок, через каждые две шконки был проход, так вот в каждый из этих проходов становился активист, либо с сапогом в руке, либо с поленом или, просто отжимаясь от верхних нар, прыгал вниз, а под нарами, как метеоры, проползали все пацаны отделения, стараясь, чтобы ни один из предметов в них не попал. Весь этот кордебалет бедолаги должны были сопровождать песней, а отдохнуть они могли в том случае, если песня нравилась бугру. Сам же он ходил вдоль спальни, между двумя рядами шконок, и отдавал команды своим активистам, чтобы те как следует наказали ослушавшихся. После таких процедур тела у мальцов были синие от побоев, но опять-таки это никого не волновало, а жаловаться было некому. Эти процедуры, видимо, входили в программу перевоспитания подростков, иначе, думаю, на них бы обратили внимание. Сами же пацаны сделать ничего не могли, ибо против них была целая система. Они глотали гвозди, крючки от шконок, ломали себе руки, ноги, вешались (были случаи и с летальным исходом), но все было без толку. В джунглях во время засухи ни один зверь не тронет слабого – таков закон джунглей. Эти же подонки умудрялись попирать даже законы природы. Уставшие и измученные после нескольких часов муштры либо ползанья под нарами, пацаны приходили в столовую, и им казалось, что уж здесь-то можно будет перевести дух и поесть спокойно, но это только казалось. Представьте себе огромную столовую: шесть, а то и больше рядов столов, по 12–15 метров в длину, рассчитанных на 300–400 человек. Подходят отделения по одному и так же, не сбивая шага, справа по одному входят в столовую, и каждый продолжает маршировать возле своего стула. После того как все отделение уже в столовой, звучит команда бугра сесть. Казалось бы, обед или ужин должен сопровождаться оживленными разговорами, но над столами стоит мертвая тишина. Даже попросить соль, подвинуть хлеб или еще что-то можно жестом. Малейший шорох, и бугор, сидящий во главе стола, командует провинившемуся: сесть, встать – и так по двадцать-тридцать раз кряду. Сам же он при этом спокойно ест со своими приспешниками, а закончив, командует: всем встать, выходить, строиться. И надо было видеть, как эти бедолаги, рассовывая в спешке по карманам хлеб, пулей выскакивали на улицу, голодные и измученные.

У некоторых бугров в отделениях были свои гаремы. Некоторые, не привыкшие к трудностям, голоду и лишениям, доведенные до отчаяния, вступали в половую связь с буграми, чтобы на правах «жены» пользоваться соответственными привилегиями. И здесь была хорошо продуманная, изоциренная методика: из числа рабов бугры выбирали 14-15-летних симпатичных

пацанов и доводили их до состояния, близкого к помешательству или самоубийству, а затем предлагали альтернативу И как ни печально, многие соглашались, возможно даже до конца и не осознавая, что ставят крест на всей оставшейся жизни. Думаю, излишне писать о том, что администрация закрывала глаза на бесчинства, беспредел, разврат и всякого рода изощренные методы, которые применял актив по отношению к основному контингенту осужденных. По закону, в колонии малолеток эти «исправленные» могли находиться до 24 лет. И все они почти были такого возраста. Назад для них дороги не было, свой Рубикон они перешли, когда делали выбор. Возможно, что и они в достаточной мере понимали, что ничего хорошего от жизни им уже не дожидаться. По истечении 18 лет малолеток отправляли во взрослую колонию, и если случайно проштрафившийся бугор попадал туда, то в лагерь вслед за ним приезжала и «она», пополнив уже взрослый лагерный гарем, и это было только начало. По освобождении особо отъявленных негодяев администрация сопровождала домой, ибо их уже ждали возле зоны и мало кому удавалось уйти от наказания, если не вмешивались власти. Если же они добивались до своих мест, то им приходилось жить тише воды ниже травы, они знали, что их ждет при новой судимости. Почти все они на свободе становились внештатными работниками милиции.

Но тем, кто думает, что так было прежде, а сейчас все по-другому, советую не обольщаться. Я достаточно хорошо информирован не только о том, что делается на особом и крытом режимах, но и знаю, каково сейчас на малолетке. А там сейчас еще хуже, чем было, ибо ко всем прочим бедам прибавился голод. Поэтому я и хочу предостеречь молодое поколение от неверных и опрометчивых поступков, которые могут привести в тюрьму. И уверяю вас, молодежь, не стоит переоценивать свои силы и недооценивать каверзы, которые может уготовить вам жизнь.

Часть II

Все еще малолетка

*Хоть мудрец не скупец и не копит добра,
Плохо в мире и мудрому без серебра.
Под забором фиалка от нищества никнет,
А богатая роза красна и щедра!*

Хайям

Глава 1

Жажда мести

Очнулись мы с Совой на вторые сутки в вольной больнице. Врач предупредил, что у меня строгий постельный режим, лежать я могу только на спине и не разговаривать. У меня был перебит нос, тяжелое сотрясение мозга, два ребра и ключица сломаны. Санек лежал рядом, я видел его боковым зрением, но повернуть голову не мог. Мы и на больничных койках были рядом, и это не могло не радовать, если вообще уместно это слово при данных обстоятельствах. У него тоже было тяжелое сотрясение мозга. Помимо ребра ему умудрились переломать все пальцы на левой руке (этой рукой он ударил бугра зоны), в семи местах была сломана челюсть. 42 дня мы пролежали в этой больнице. Сразу после того как мы очнулись, пришел Хозяин, а с ним и следователь. Около часа следователь нам что-то говорил, хотя знал, что разговаривать мы не можем. Хозяин в чем-то оправдывался, ругая всех и вся, всего и не припомнишь, прошло много времени. Последнее, что я услышал, – это слова следователя, обращенные к Хозяину: «На этот раз они перестарались и придется возбуждать уголовное дело». Что ответил Хозяин, я уже не слышал, от напряжения голова гудела. Позже мы узнали, что и прежде здесь бывали такие случаи. Часто при прописке либо при других обстоятельствах бугры так усердствовали, что людей помещали в больницу. А при поступлении пострадавшего в травмопункт больница обязана сообщать в милицию. Обычно в таких случаях приезжает следователь и видит: лежит пострадавший, а рядом сидит конвой, который обязан сопровождать малолеток всюду, кроме как в морг, и кто-то из дежурных офицеров. Следователь беседует с офицером, и в конце концов все сводится к тому, что либо больной – членовредитель, либо травмы получены в обоюдной драке. В любом случае все сглаживается, ведь ворон ворону глаз не выклюет. Но на этот раз, видно, следователь испугался взять на себя ответственность. Во-первых, нас было двое, случай неординарный – он это сразу понял, у них нюх на это собачий, да и травмы были очень серьезные. И тогда, перестраховавшись, следователь сообщил родителям по месту жительства, чтобы они прибыли к нам в больницу, поскольку мы были несовершеннолетними.

Об этом нам сказала нянечка, которая ухаживала за нами, она случайно подслушала разговор легавых. Через неделю приехала моя мама с отцом, к Саньку никто не мог приехать, у него в деревне под Ленинградом остались бабушка и две сестренки мал мала меньше, родители его погибли. В общем, мать моя ухаживала за нами обоими, а как же могло быть иначе, даже Саньку она уделяла внимания больше, я понимал все и был ей за это благодарен. Кто его знает, что приключилось бы с нами, если бы не мать, да к тому же она ведь была врачом, да не просто врачом, а военврачом, а это большая разница, не в обиду будет сказано медикам, не побывавшим на войне.

Каким-то образом отец узнал все, что с нами произошло.

Долго он оставаться не мог из-за работы, перед отъездом сказал нам: «Ни следователю, ни черту, ни дьяволу никаких показаний не давайте. Сможете, отомстите сами, либо в лагере, либо на свободе. Пожаловаться вы не можете, иначе сами себе и друг другу будете противны. И хотя отец мой был работягой, то есть по лагерной жизни мужиком, но законы воровские он знал не понаслышке. Я ему во всем доверял, также и друг мой следовал советам моего отца и никогда не пожалел об этом. После сорокадвухдневного пребывания в вольной больнице нас поместили в лагерную санчасть. Мама моя сделала для нас все, что могла, поплакала немного и, простившись с нами у ворот лагеря, поехала домой. Чувствовали мы себя, конечно, еще неважно, но терпимо. Сильный удар может на время оглушить, но всем известно, что после этого кровь начинает веселей бежать по жилам. Прошло еще немного времени, и все шрамы и синяки зажили, но как память о первом крещении с сучней у меня на всю жизнь остался переломанный нос. Администрация и актив сумели оценить наше достойное поведение со следственными органами, если такое выражение здесь уместно. Никто нас не трогал, мы делали все, что считали нужным, но в рамках допустимого, то есть особо не перегибали. Правда, пару раз по десять суток нам пришлось отсидеть в изоляторе, но здесь, скорей, было больше нашей вины, а вина заключалась в том, что мы заступились за тех, кто, по сути, того не заслуживал. Они оказались бесчестными подонками и впоследствии из-за своей трусости стали свидетелями у нас на суде. Но разве знаешь, где найдешь, где потеряешь, да еще в этом возрасте. А пока мы зализывали раны и ждали удобного момента взять реванш. Но при всем нашем желании отомстить обидчикам мы бы не смогли, и потому мы выбрали бугра зоны – Чиж. У нас была еще одна причина отомстить Чижу – именно он сломал Саньку пальцы. Пальцы у Саньки почти не сжимались. И каждый раз, когда он хотел сжать кулак левой руки, вспоминал эту падаль благим матом. Но хотеть – одно, а сделать – это другое. Мы горели жаждой мести, но у нас не было опыта, ведь мы были пацанами. Из поля зрения нас не выпускали, но и не препятствовали никаким нашим выходкам, даже, наоборот, как бы провоцировали на активные действия. Но мы были постоянно настороже. Как мы узнали позже, на суде, они хотели нас спровоцировать на какую-нибудь выходку. Но они уж никак не ожидали, что она будет такой безумной, правда, с точки зрения этих ничтожеств, она была безумной, а не с точки зрения нормальных людей. Письма с жалобами на администрацию, которые малолетки по наивности опускали в почтовый ящик, естественно, до адресата не доходили, их просто не отправляли. Поэтому, когда родители приезжали на свидание к своим сыновьям, а свидание было положено два часа и всего один раз в четыре месяца, то вместо обычных приветствий и разговоров пацаны старались успеть рассказать об ужасном беспределе, происходящем в лагере, и в качестве примера приводили наш с Сашей случай. Затем, видно, кто-то из родителей добился приема у больших начальников в Москве, потому что из столицы должна была прибыть комиссия, ее ждали, и весь лагерь готовился к встрече с ней, кроме нас, наверное. Администрация прекрасно понимала, что мы тут абсолютно ни при чем, но им все же нужно было что-то предпринять, вот они и решили одним выстрелом убить двух зайцев. И очернить нас, как ярых нарушителей режима, и в то же время избавиться от нас. Потому нас не трогали, а, наоборот, ждали от нас решительных действий – и таковые не заставили себя долго ждать. Всегда неприятно вспоминать неудавшийся побег, а тем более неудавшееся покушение. Но что было, то было. Итак, мы приняли решение – убить этого гада. Никто, конечно, не знал о наших планах, но, возможно, о чем-то догадывались, потому и старались не выпускать нас из поля зрения. И все же они проглядели.

Любовник больше думает о том, как бы пробраться к возлюбленной, чем муж о том, как уберечь жену. Узник больше думает о побеге, чем тюремщик о запорах. Следовательно, по логике вещей, любовник и узник должны преуспеть.

Во-первых, нам нужно было достать оружие, и мы нашли его. Два хорошо отточенных стилета мы вынесли, а вернее, нам их вывезли. Но чего нам это стоило, читатель может только догадываться. Об этом и кое о чем еще все же стоит рассказать поподробнее. В жилой зоне всё

и все были на виду, а тем более мы с Совой. Как я уже говорил, нас никто не трогал. Мы ходили где хотели, что хотели делали и всегда и везде были вдвоем – и, конечно, были засвечены в жилзоне. Другое дело промзона, там можно было затеряться, да и было где. В первую очередь мы достали, вернее, заказали два стилета, и нам их сделали. И что удивительно, сделал их один активист.

Еще когда нас привезли из больницы, к нам в санчасть стал наведываться один москвич. О том, что он в активе, он нам сразу сказал, да мы и сами об этом догадывались. Говорил, что ему стыдно за то, что носит повязку и состоит в этом «обществе», что сам был такой, как мы, но всегда один, да еще и из Москвы. По-человечески понять его было можно, да и, что касается москвичей, мы знали и видели сами, что их почему-то нигде не любят и при первой же возможности стараются опустить. Но он был в активе, и этим все сказано. Правда, вели мы себя с ним всегда корректно, глупо было пренебрегать пониманием и сочувствием этого человека, кстати, он был тезкой моему Саньку. Так вот, на промзоне единственный цех, где можно было быстро и без хлопот сделать хороший тесак, был цех, где работал этот самый Саша. Несколько дней мы кружили возле этого цеха, заходили к нему, как бы на правах старых знакомых, в гости. Но он был далеко не дурак, да и возрастом постарше нас, и понял сразу, что кружим мы возле него неспроста. Прямо, без обиняков он спросил, чем может быть нам полезен. Сама постановка вопроса нам понравилась, да и терять нам было особенно нечего, и мы так же прямо, без обиняков ему сказали. Перед лицом опасности человек ищет друзей повсюду и никем не пренебрегает. «Я сделаю все, что от меня зависит, и все, что в моих силах», – был его ответ. И он сделал два стилета, которыми не то что человека, а кабана можно было порешить запросто. Вот тогда я поверил, что он действительно очень одинок и ненавидит своих так называемых собратьев. В его лице можно было прочесть какую-то затаенную удовлетворенность. Мы его от души поблагодарили, так как платить нам было нечем, и сказали, чтобы держался от нас подальше, поскольку это может для него плохо кончиться. В свои планы мы его, естественно, не посвящали, да он и не интересовался. Но понял нас как надо, пожелал удачи, а она нам очень была нужна. Теперь оставался один из главных этапов нашего предприятия – пронести оружие в зону. И здесь нам пришлось немало поломать голову, но помог, как всегда, случай. О том, чтобы вынести оружие самим, нечего было и думать. Даже если можно бы было на кого-то положиться, мы бы не решились, так как все проходили обыск – как на разводе, так и на съеме – и можно было подставить малолетку, а такие поступки неприемлемы не только в лагере, но на воле. Но выход нашелся, и, как это обычно бывает, неожиданно. Со свободы транспорт заезжал только в промзону, за исключением хлебовозки, но точного расписания прибытия ее не было. Хлебовозка – это подвода с кучером-бесконвойником, который возил продукты из лагерного склада в столовую. Кучер был из Подмосковья. Санек решил узнать, откуда точно, чтобы на правах земляка войти к нему в доверие, запудрить ему мозги и тем самым дать мне возможность юркнуть под телегу и спрятать ножи. Разыграли мы все как по нотам, благо опыта нам было не занимать, вот только одно обстоятельство все же чуть не сорвало наше дело. Когда я, спрятав стилеты, отцепился от телеги, Санек еще оставался на ней, рядом с этим олухом, и что-то без остановки рассказывал, глядя ему в глаза. Обернуться, естественно, он не мог. Я уже стал отходить от телеги, как вдруг откуда ни возьмись ДПНК (дежурный помощник начальника колонии). О, это была бестия! Звали его Виктор Владимирович, по кличке Валет. Даже сами работники так его называли, – видно, из-за того, что совал свой нос куда не надо. Это был молодой, очень энергичный, довольно неглупый офицер, этакий капитан-служака. Естественно, такой тандем, как кучер-бесконвойник и ярый нарушитель Сова, его очень заинтересовал, и он взглядом стал искать меня, будучи уверенным, что я где-то рядом. Когда он увидел меня недалеко от подводы, то что-то заподозрил. Заметили капитана и на подводе. Санек спрыгнул, но телегу Валет все же остановил, а тут и я подошел. Бедный кучер, чего он только не пережил за эти 10–15 минут – Валет материл его, на его голову сыпались угрозы из-за того,

что он связался с нами. Если бы Валет знал тогда, как был близок к истине! Но, к нашему счастью, чувством ясновидения он не был наделен, а потому приказал кучеру ехать дальше и ждать его в жилзоне. Мы же, натужно улыбаясь, ждали, что нам скажет сей страж порядка. Один Бог знает, чего нам стоила эта улыбка, от нервного напряжения вздулись на висках вены и стучало в голове. Странное дело, он не сказал нам ни слова, но посмотрел на каждого сверлящим взглядом. И видно, не найдя ничего подозрительного, махнул рукой и пошел по своим делам. С трудом переведа дух, мы направились в сторону вахты и стали ждать съема. Когда Валет сказал кучеру: «Жди меня в жилзоне», нам сразу стало ясно, что он что-то заподозрил и решил на всякий случай обыскать телегу. Все дело было в том, что приди он хоть на полчаса раньше съема, и все бы пропало, хоть я и спрятал, как мне показалось, ножи надежно. Но при тщательном обыске найти их не составило бы труда, мы это прекрасно понимали, а потому смотрели на вахту с нескрываемым волнением и нетерпением. Но съем не объявляли, не было и Валета, и это нас как-то успокаивало, так как без ДПНК съем делать не будут. В этот день, впрочем как и в эту же ночь, нам везло. ДПНК пришел как раз тогда, когда объявили съем, даже немного опоздал, а это означало, что отлучиться он уже не сможет. Мы проходили в зону так, будто у обоих были вывернуты шеи влево, это чтобы он на нас не обратил внимания, а пройдя шмон (обыск), тут же бросились в сторону столовой. Телега стояла там же, где и всегда, уже пустая, и рядом никого не было. Забрать из-под нее стилеты было делом нескольких секунд, я сунул их за пазуху, и мы направились в отряд. Мы были у всех на виду, поэтому не могли поделить оружие, просто негде это было сделать. Все же, зайдя в туалет, я умудрился сунуть один нож Саньку, и никто этого не заметил, да в тот момент замечать-то было некому, все спешили на построение в столовую. В общем, мы были при оружии и решили при благоприятном раскладе порешить гада этой же ночью. Говорят, ждать и догонять – самые неприятные ощущения в жизни, насчет догонять – не знаю, а вот насчет ждать – точно сказано. Я прочувствовал это ночью до наступления следующего утра. Мы еле дождались отбоя, но каких нервов нам это стоило! И опять долгие часы ожидания – но уже в спальне, под одеялом, во всем обмундировании, сжимая до боли в руках рукоятки стилетов. Время тянулось невыносимо медленно. Но всему на свете бывает конец, если, конечно, доживешь до него.

Был июль, рассветало рано, где-то в пятом часу. Мы решили прямо перед рассветом быть наготове. Время было выбрано не случайно: по воровскому опыту, хоть и малому еще, мы знали, что красть хорошо под утро, когда у людей самый сладкий и крепкий сон, а значит, и убивать в это время тоже сподручней. Вот такая простая логика предопределила наши дальнейшие действия.

Глава 2 Покушение на Чиж

Как только забрезжил рассвет, мы осторожно спустились под нары и, зажав в руках оружие, поползли в сторону окна, где лежал этот мерзавец. Проход между его шконкой и окном оказался большой, было где развернуться, и мы решили: я буду бить в сердце, а Санек – в живот. В любом случае мы решили не оставлять ему шансов выжить. Мы ползли бесшумно, лишь пот, стекавший со лба, заливал глаза, и это мешало скользить по полу, натертому мастикой и отполированному телами бедолаг, за которых мы также должны были отомстить. Наконец появился долгожданный проход. Мы выскочили из-под нар одновременно, одновременно занесли ножи, но при замахе я опрокинул бидон с молоком, который этому жлобу приносили каждый вечер. Сон у этой твари, видно, был колымский, потому что стоило мне на долю секунды замешкаться, как он схватил меня за руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы схватить мясо. Но зато Санек не замешкался, он дважды всадил нож в брюхо этому кабану. Надо было слышать и видеть, как этот гад, всегда надменный по отношению к

пацанам, визжал как свинья и звал на помощь. Я же вырвал свою руку и почувствовал, как стилет что-то задел, – оказалось, что я порезал рыло этому кабану, оставив воровскую отметину до конца его дней. К счастью, и жить ему оставалось не очень долго.

Мы хотели выпрыгнуть в окно, но в него уже влезал дежурный наряд, а по проходу, как целая свора псов, бежал актив. В общем, были мы в западне, и через некоторое время нам пришлось сдаться. Много лет прошло с тех пор, а я иногда вспоминаю события этой ночи и не могу себе простить, как я мог тогда так опростоволоситься. Но все же возраст, в котором мы тогда пребывали, и наша неопытность смягчают угрызения моей совести. Хотя, вдумавшись, упрекнуть мне себя, по большому счету, не в чем.

Почти месяц мы просидели в карцере поодиночке, но зато через стенку, и это сглаживало наше унылое одиночество. Нас никуда не вызывали, но зато посещали на дню по пять-семь раз даже те из работников, которых мы и в глаза не видели. И странное дело, все без исключения обращались к нам с уважением, разговаривали как со взрослыми, и этого нельзя было не почувствовать. Даже надзиратели изолятора открывали нам с Саньком кормушки (форточка в двери для подачи пищи), чтобы мы могли спокойно разговаривать, когда не было начальства. Много, конечно, мы передумали за это время и много чего открыли для себя нового.

Всего несколько месяцев назад мы прибыли в этот лагерь. Никого не зная, мы никому не сделали ничего плохого, даже не успели еще нарушить режим, да и лагерь-то толком еще не повидали. А нам в буквальном смысле переломали кости, надолго уложили на больничную койку лишь только за то, что мы не хотели отказаться от своего мнения, при этом никому ничего своего не навязывали. А что сейчас? Мы не то что нарушили режим, а совершили самое что ни на есть дерзкое и тяжкое преступление, да еще по отношению к работнику колонии. Ведь нам сказали, что нападение и телесные повреждения этой падали будут рассматриваться в суде как покушение на работника колонии. Что же теперь? После всего, что произошло, те, кто пренебрегал нами, относятся к нам с явным уважением, мало того, стараются сделать что-то хорошее, хоть и немного, но все же. В тех условиях и при тех обстоятельствах, в которых мы находились, любое участие было ошутимо. Те, кто истязал нас как стая шакалов, теперь боятся нас, хотя мы находились под надежными запорами.

Кстати, забегаю вперед, скажу об интересной встрече. После суда, перед тем как нас отправили этапом, к нам в гости в изолятор пожаловал наш потерпевший Чижик. Надзиратель не хотел даже открывать кормушку, боялся. Но после долгих уговоров и обещаний с обеих сторон все же открыл. Мы хотели взглянуть напоследок на эту недорезанную тварь. И что же. Первое, что он сказал нам, так это изъявил благодарность в наш адрес. С вашей легкой руки, сообщил он, я инвалид второй группы, меня представили на УДО (условно-досрочное освобождение), и в то время, когда вы будете гнить на пересылках, я буду ехать в мягком вагоне домой. Пожелав нам счастливого пути, Чижик демонстративно покинул нашу обитель, саркастически улыбаясь. Можете себе представить, какой поток брани мы вылили вслед этому гаду, но его уже и след простыл. Как показало время, угадал он будущее только наполовину. Мы действительно гнили на пересылках, и не только на пересылках. А он уже лежал с двадцатью семью ножевыми ранами на берегу реки Сунжи. Позже мы узнали, что этой сволочи дали срок восемь лет – за изнасилование. На тот момент, когда мы подрезали его, он отсидел четыре. И вот в связи с ранениями на сучьей стезе его и освободили по УДО. Но как поется в песне: «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал».

Я сказал, что нас никуда не вызывали, – это правда, но один раз все же вызвали, и не обоих, а меня одного. Я ожидал всего, но только не того, что увидел. В кабинете Хозяина сидела моя мать. Но я ее не сразу узнал – она была в военной форме, при медалях и орденах, которую надевала лишь на День Победы. Как только меня завели в кабинет, Хозяин тут же вышел, оставив нас наедине. Несколько минут она только и делала, что обнимала и целовала меня, в ее объятиях я забыл обо всем на свете. Мать моя была действительно удивительным

человеком, я всегда восхищался и гордился ею. Наконец она взяла себя в руки, и по ее лицу я понял, что она сейчас скажет что-то важное.

Закон обязывал, чтобы родители присутствовали на суде. И как тогда, когда мы попали в больницу, опять послали запрос родителям, и вот уже несколько дней, как она находилась здесь. Мама мне рассказывала впоследствии, она еще по дороге подготовила для нас защитную речь, так как она знала, из-за чего мы пошли на преступление. Да и отец ей подсказал кое-что, сам же он приехать не захотел, я догадываюсь почему, хотя мы с ним никогда об этом не вспоминали. Важно, считала мама, что потерпевший остался жив, и это было единственное, в чем наши желания не совпадали. И вот Чижик был жив, она даже ходила к нему в больницу. Всех подробностей я не знаю, да и не помню, главное было то, что, узнав все, что с нами случилось, она потребовала изменения статей, а это в корне меняло обвинение. Как я уже писал, моя мама была весьма образованный человек. Всю войну провела на передовой на 1-м Украинском фронте – военврач, капитан запаса. Многих крупных военачальников она латала после ранений, да и немало спасла жизней простым бойцам. Я не только это знал из ее рассказов о войне, но и сам видел спасенных ею фронтовиков в нашем доме, даже в какой-то мере дивился их фронтовой дружбе. И конечно, то, что мать моя военврач, сыграло решающую роль в вынесении приговора. Да честно говоря, фронтовиков тогда чттили, они были в почете, их даже побаивались. В общем, два удара, нанесенные Саньком этой твари, мы поделили пополам, и суд вынес приговор: определить нам спецусиленный режим и на оставшийся срок отправить в соответствующую колонию. Судьба уготовила нам Нерчинск. Возможно, тогда я не понял в достаточной мере того, что услышал. После вынесения приговора один из конвойных сказал моей матери: «Не знаю, может ли приговор быть еще суровей». Он знал, что говорил. Впоследствии я не раз вспоминал его слова, но тогда я даже и виду не подал, чтобы не расстраивать мать. После суда нас продержали еще 17 дней, но, правда, уже на общих основаниях, даже разрешили свидание с мамой. И вот, дав мне массу ценных советов и наставлений, она пошла к выходу, я видел и чувствовал, каких сил ей стоило держать себя в руках, ведь она хоть и приблизительно, но догадывалась, какие трудности меня ожидают. Как я был благодарен ей за ее мужество, как я гордился, что у меня такая мать.

Глава 3 Спецвоспитание

Выехав в начале октября 1962 года, мы почти восемь месяцев добирались до места назначения. В нерчинский лагерь мы прибыли где-то в середине июня 1963 года. За эти восемь месяцев, проделав такой путь, побывав в стольких тюрьмах, мы встретили немало интересных и хороших людей, ну и, естественно, усвоили полезное и нужное, необходимое для жизни в этих условиях. Встречали мы по дороге и воров, но, к сожалению, общались с ними мало. Но и то время, что мы провели вместе, дало нам очень много, так как после общения с ворами мы начали что-то понимать, в чем-то разбираться. Хочу также заметить, что за весь этот долгий путь мы не встретили ни одного малолетки, кто бы шел на спец. Забегая вперед, скажу, что в лагерь мы так вдвоем и приехали. Не надо забывать, что это было время ломок, подписок и сучьей войны, и двое пятнадцатилетних пацанов, пострадавших за общее дело, внушали уважение. Тем более вели мы себя скромно, как и подобает младшим. По всему этапу, растянувшемуся на восемь месяцев, будь то тюрьма или «Столыпин», нас везде встречали с теплотой и пониманием. Мы даже не всегда видели тех, кто с нами делился, возможно, последним, при этом сопровод был такой: «Пацанам, что идут на спец». Как было не гордиться таким вниманием и уважением. Хотя уже больше года, как появились различные режимы и в лагерях и некоторых тюрьмах стали сортировать по ним, в транзите пока сидели все вместе – и малолетки, и ООР (особо опасные рецидивисты), и это не могло не способствовать повышению

уровня знаний, необходимых в столь суровых условиях. Когда же мы расстались с ворами, как я уже писал выше, мы стали совсем по-другому смотреть на мир. Мы уже точно знали, чего мы хотим и за что надо бороться. Правда, было еще много неясного, возникало много вопросов, но ответы на них мы получили значительно позже.

А пока нас встречал у вахты дежурный наряд во главе с ДПНК майором по кличке Циклоп, гигантом двухметрового роста. Как мы позже узнали, нужно было обязательно выдержать его взгляд, а это, замечу, было совсем не просто. Когда он, прищурился, вперились в нас взглядом, то можно было подумать, что действительно на нас смотрит циклоп. Ощущение было не из приятных, но мы глаз не потупили. А это Циклопу могло не понравиться. Мы думали, что нашла коса на камень и дальше все будет по их «козьему» сценарию, но, к счастью, на этот раз мы ошиблись. Оказалось, что Циклоп был единственный мент в зоне, который относился к людям по-человечески и ни на кого не поднимал руки. Естественно, это касалось тех, кто заслуживал его уважение, говоря проще, он уважал мужчин, которых видел в пацанах. Сверив данные в деле, которое он держал в руках, с нашими ответами, он, удовлетворившись ими, приказал следовать за ним. Было темно, когда мы с вахты вошли в зону, поэтому, проходя по территории, мы не могли ничего разглядеть, да и разглядывать было нечего – несколько барачных пристроек к ним. Почти непроглядная тьма и мертвая тишина оставляли неприятное ощущение, ну и навевали соответствующие думы. Но мы забыли, что прибыли на спец, где все и вся находится под замком. Подтверждение тому мы получили, когда Циклоп открыл дверь, ведущую в барак. Там стоял такой шум, что с непривычки нам пришлось переспрашивать дежурного контролера, о чем он говорил, так как ничего не было слышно. Барак, куда мы вошли, представлял собой длинный ряд камер по обе стороны широкого коридора. Почти все камеры были открыты, а по проходу гуляли или сидели ребята. Когда мы вошли, то внимание, естественно, сразу было обращено к нам и потихоньку шум стих. Подойти к нам они не могли, потому что от двери до них было метров десять, но мы все же успели перекинуться парой-тройкой слов, пока нас не повели в камеру, которая была рядом с дежуркой. Это была обычная камера, предназначенная для карантина. Мы тут же начали искать в камере кабура на стене слева, так как справа находилась дежурка. Но кабура не было, да его и не могло быть там, где мы искали, потому что справа был проход. Конечно, это было сделано специально, чтобы мы не могли переговариваться с колонистами, до того как нас представят лагерной комиссии. Поняв, что искать нам нечего, мы прямо повалились на нары и заснули без задних ног.

Утром нас разбудил шум, это баландер стучал миской по кормушке, и, видно, долго уже стучал, потому что изо рта, такого же грязного, как и его экипировка, исходил какой-то непонятный рык. Санек поднялся первым, но не из-за шума, а от брани этого халдея в наш адрес, и запустил со всей силы в него ботинком. Баландер резко захлопнул кормушку, успев выкрикнуть: «Ну и подышайте с голоду!» Да, такой прием заставил нас призадуматься. Приведя себя в порядок, мы стали ждать. Прошла проверка, и сразу после нее пришли за нами. На этот раз в свете дня лагерь был виден как на ладони. Территория походила скорей на секретный объект, чем на пристанище по меньшей мере 400–500 малолеток, да еще и ярых нарушителей. Даже контролер, который сопровождал нас до штаба, всю дорогу молчал. Но удивить нас уже давно было нечем, а потому мы вошли в штаб без всякого волнения и страха. Только возле дверей одного из кабинетов этот молчун сказал: «Вас ожидает комиссия». Зашли мы с Саньком одновременно, как оказалось, это был кабинет Хозяина. Обычно при таких процедурах на комиссию вызывают по одному, но здесь этапы были не частое явление, да к тому же нас было всего двое. Огромный кабинет с двумя громадными окнами являлся некоторого рода неожиданностью, никак нельзя было ожидать в столь невзрачном и хмуром здании такого просторного помещения. Вдоль стен стояли дореволюционные стулья, на них важно восседала комиссия, да с таким видом, будто с нашим появлением решается некая глобальная проблема. Прямо напротив нас стоял очень массивный стол, скорее всего, из мореного дуба и, видно, из инте-

рьера кабинетов первых комиссаров, которые здесь устанавливали советскую власть, такую же прочную, как этот стол. За столом сидел капитан, почти весь седой, со множеством планок на груди, с виду статный мужчина лет сорока. Прямо над его головой висел портрет Дзержинского, непрменный атрибут подобного рода кабинетов, а вдоль стен были развешаны какие-то портреты борцов за прекрасную жизнь. Вот первое, что бросалось в глаза, и, как видит читатель, ничего примечательного в этой обстановке не было, обычный кабинет Хозяина. Но Хозяин-то был не совсем обычный, это был форменный садист по фамилии Маресьев. Не правда ли, такую фамилию трудно забыть, а такого деспота забыть просто невозможно. Планки от орденов и медалей на его груди говорили о том, что он не был трусом, скорее наоборот: он прошел всю войну, или почти всю, побывал даже в плену и умудрился бежать оттуда. Вот эти обстоятельства, скорей всего, и определили его дальнейшую жизнь. Если бы государство оценило его заслуги и подвиги, то он бы нашел достойное место в когорте своих бывших однополчан. Но, к сожалению, людей, побывавших в плену, наше правительство, мягко говоря, не жаловало, какими бы храбрецами они ни были. Но пренебречь людьми, у которых на груди от наград почти не было свободного места, власть не могла, вот его и определили в этот Богом забытый край, и это не могло не сказаться на его психике. Здесь, на своем новом поприще, он со временем поменялся местами со своими бывшими мучителями в плену. Буквально для всех пацанов у него были свои прозвища, и даже своим подчиненным он давал клички. Таких, как мы, он называл партизанами, свой штаб – гестапо, а подчиненных – гестаповцами. Иногда можно было слышать, как он кричал с пеной у рта: «Сейчас ты пойдешь в гестапо, а там у нас и камни заговорят, понял!» Затем следовали пара-тройка хороших тумачков, и несчастного с закрученными руками, волоком тащили в штаб, ну а там хорошо знали, как нужно поступать с нарушителями спокойствия. Судя по тому, что любимым выражением этого подонка были слова «я люблю покой и тишину», создавалось впечатление, что он вроде готовился преставиться, но, как ни молили об этом Бога юные арестанты Нерчинского острога, Всевышний не спешил с этим, – видно, такого добра у него было хоть отбавляй. Вот что представлял собой человек, который сидел прямо перед нами. Но то, о чем я написал выше, мы узнали много позже. А сейчас вели себя на всякий случай скромно и спокойно. Хозяин поднял голову и движением удава, почуявшего добычу, повернул ее к нам, уставившись на нас блестящими рысьими глазами. Сесть нам предложено не было, да и некуда было, а потому мы смотрели на него сверху вниз. «Кем будете жить в зоне?» – без вступления, видно, в расчете на наше замешательство, связанное срезкой переменной обстановки, прошипел он. Я поневоле вспомнил, как подобного рода вопросы нам как-то задавал тот, по чьей милости мы здесь оказались. Но перед этим легавым Чиж был сопляком, да к тому же заключенным, однако все же они были чем-то похожи. Все это промелькнуло в моей голове мгновенно, и, выбрав тон рыночного торговца, я ответил вопросом на вопрос: «А что вы можете предложить?» Никак нельзя было ожидать, что у столь бравого с виду офицера окажется такой небольшой набор слов, так как, кроме отборного мата, почти ничего в его речи толком нельзя было разобрать. Надо было видеть, как он орал, брызжа слюной и выкрикивая угрозы. Комиссия помимо Хозяина состояла еще из нескольких офицеров и двух до неприличия вульгарных особ женского пола, но все они сидели затаив дыхание, с упоением слушая своего шефа. Мы тоже терпеливо слушали и не перебивали его, и, когда он выдохся или решил перевести дух, Санек вклинился в эту паузу и изрек спокойно и не спеша: «Гражданин начальник, велите отвести нас в камеру, иначе у нас уши завянут от погани, которая вышла у вас изо рта. Научитесь разговаривать с порядочными людьми, а мы потом еще посмотрим, стоит ли вообще с вами разговаривать». В воздухе повисла пауза, все ждали, что же будет дальше, незаметно бросая взгляды в сторону Хозяина. Придя в себя от шока после ночного заявления Совы, капитан взял себя в руки и сказал вкрадчивым голосом: «Ну что ж, это будет, пожалуй, интересней, чем обычно». Его тон не предвещал ничего хорошего. И я подумал, что уж лучше бы он ругался и брызгал слюной. И был прав, потому что в следующий

момент, вызвав истукана, он скомандовал ему: «В обычный пока карцер этих шенков, а там посмотрим, кто есть кто». Вот так и состоялось наше знакомство с этим лагерем и его Хозяином. О том, как просидели мы эти десять суток, я рассказывать не буду. Только я все время пытался вспомнить, что читал про карцер по истории Древнего Рима. Я откопал в глубинах своей памяти, что тогда карцером называли помещение в цирке, где находились гладиаторы, возникшие с лошадьми и другие участники зрелищ. Ну не собирался же он нас, как гладиаторов, вывести на бой, да и были мы тогда от горшка два вершка – какие из нас гладиаторы? В общем, пока я все это обдумывал, нас привели опять в ту же камеру, где мы провели первую ночь. Затем целый день водили то в баню, то в спецчасть, то еще куда-то – уже не помню, но к вечеру мы опять были в том же кабинете. Только теперь Хозяин сидел один, правда, за дверью стоял все тот же дубак. Теперь он решил применить другую тактику разговора. Как только мы вошли в кабинет, нам тут же было предложено сесть, затем, как бы извиняясь, сказал: «Как же так, почему же вы сразу не сказали, что вы блатные!» Его слова нас несколько обескуражили, так как мы знали, что блатные – это воры, мы же еще были молоды, даже слишком молоды, чтобы нас считали ворами, но мы молча продолжали слушать. «Я только сегодня посмотрел дела, иначе бы я вас выпустил раньше, – продолжал он, – ну да ладно, вы уж на меня не сердчайте». Мы молча продолжали слушать, прекрасно понимая, что все это неспроста. «Блатные у нас живут как блатные, вот подпишите эти бумаги». – «А что это?» – спросил Санек. «Это ваш мандат, у нас у всех блатных мандаты». Санек взял один из листов, поднес его к лицу и через минуту, смяв, швырнул прямо врыло Хозяину. На листе значилось наше вступление в актив, только не было наших подписей. Конечно, оторваться нам дали хорошенько, кости опять ломило, но это, видно, перешло уже в хроническое «недомогание». После экзекуции нас снова привели к этому деспоту. «Слышишь, зверек, – обратился он ко мне, – я больше чем уверен, что ты не освободишься, если же это вдруг произойдет, то освободишься ты курносым». Саньку же сказал: «Ну а ты будешь как Буратино. Но молитесь Богу освободиться хоть такими, ведь ждет вас много сюрпризов». Затем, обращаясь к надзирателям, которые поддерживали нас, потому что стоять мы не могли, он сказал: «К бунтовщикам их. Все то же. И приготовьте красный уголок».

Глава 4 «Красный уголок»

В который раз мы пересекали по диагонали зону, от штаба до барака, только на этот раз нас почти несли, но не в тот барак, где мы были, а в соседний. Попав в него, мы сразу почувствовали разницу: внезапно повеяло сыростью, света почти не было, где-то посреди барака горела одна лампочка, по коридору ходил шнырь. Камеры, а их было всего пять, были закрыты. Открыв одну из них, нас закинули внутрь и ушли. Мы поняли, что мы у своих, и это успокоило. В камере находилось три человека, даже по их виду можно было понять, что это наши «братья по жизни». Все трое были выше нас ростом почти на голову, и это сильнее подчеркивало их худобу. Честно сказать, кроме как в фильмах о концентрационных лагерях, я нигде больше не видел таких худых, буквально кожа да кости. Без сострадания и жалости нельзя было на них смотреть, мы даже забыли о том, что сами еле держимся на ногах. Нас встретили, как и подобает, по-братски, уложили на шканари (кровати) и стали заботливо ухаживать за нами, видя, что нам здорово досталось. Рады нам пацаны были безмерно. После того как мы познакомились, нам рассказали, что находятся они здесь уже почти шесть месяцев, на пониженной пайке. Забегая вперед, скажу, что для малолеток нет такого наказания и никогда не было пониженных паек, эта бестия капитан придумал. Каждый месяц один из них идет в «красный уголок», ибо больше раза в месяц никто бы там не выдержал. Против закона здесь вроде бы не шли, так как один раз в месяц разрешалось водворять малолеток в ШИЗО, эта экзекуция нам еще предсто-

яла. Курева им не давали – в общем, издевались как хотели, зная свою безнаказанность. Попали бедолаги в такое положение благодаря самому низкому человеческому пороку – предательству. Видя, какой беспредел творит в лагере Хозяин, они решили поднять бунт, но их предали те, кто был рядом и, как это обычно бывает, больше всех выступал. Вот такую невеселую историю поведали нам наши новые друзья. Звали их Валера (Харитоша), Женя (Ордин) и Сережа (Цыпа). Я не стану описывать их внешность, как это обычно делают в книгах, – во-первых, я не помню, а во-вторых, в моем повествовании читатель еще не раз встретится с ними – в Коми АССР, на Дальнем Востоке, в Бутырках и Матросской Тишине, но это уже будут не те прикомандированные и забитые «краевым беспределом» молодые босяки, а взрослые, умудренные опытом нелегкой жизни бродяги. Правда, забегая вперед, скажу, что один из пацанов не выдержал и помер – и не стало его именно тогда, когда мы почти добились своего. Что удивительно, все трое были москвичами, это нас приятно удивило, ведь единственный человек, который помог нам справиться с Чижом, был москвич, правда, активист, но по принуждению. Женя и Валера были бауманские, а Сережа – люберецкий. Кстати, у Жени отец был при своих (вор в законе), Санька (Кот) его звали.

В общем, проговорили мы почти до утра. Поведали нам ребята во всех деталях о «красном уголке» и обо всем остальном, что нужно знать в первую очередь нам, юным бродягам. Через пару дней, когда мы почти пришли в себя, меня повели в «красный уголок» на очередные десять суток. «Уголок» являлся личным изобретением этого изверга, и он им гордился. Такая камера была одна, и после каждой отсидки в ней подростка заносили сначала к Хозяину, чтобы узнать, не переменял ли он своих убеждений, и, получив отрицательный ответ, относили в камеру. Выйти своими ногами оттуда не удавалось никому. Прежде чем я вошел в камеру, ключник мне сказал: «Имей ввиду, ни на оправку (туалет), ни на поверку – никуда вообще дверь открываться не будет, кроме как через десять суток. Так что не стучи и не ори, никто не придет, даже если тебя сожрут крысы». Совет был дельный, но я не подал вида, что знаю, что меня ожидает, и учтиво поблагодарил его за совет. Видно было, что надзиратель удивился, но не сказал ничего, просто молча закрыл за мной дверь. Помещение метров шесть-семь в длину и три в ширину было абсолютно пустое. Стены глухие, без окон, пол похож на сопки Приамурья, весь в буграх, какой-то странной конфигурации. Двери по всему периметру пробиты гвоздями, не было ни параша, ни окна, ни даже нар, которые в обычных карцерах пристегиваются. В общем, не было ничего, все было необычно, но я был готов. А потому, когда погас свет, нисколько этому не удивился. Став в правый угол, я стал прислушиваться. Откуда-то от двери слышалось шипение, будто штук пять кобр выползают на охоту, но это были не змеи, это была вода. Мне приходилось перебегать с кочки на кочку, ибо вода то прибывала, то убывала. Не помню, сколько прошло времени, но, когда открыли кормушку и сунули пайку вместе с кружкой воды, я еле стоял на ногах, а времени было еще немного, еще не было отбоя. Мне же показалось, что прошла вечность, но главное было впереди.

Как только прозвенел отбой, вода начала спадать. Я забрался в правый угол – мне показалось там суше, и, как бы для того чтобы я в этом убедился, вдруг зажегся свет. С утра это был пятый раз. Не часто, подумал я, но все же успел еще разок окинуть глазом свою обитель. Свет опять погас. Вот так с пайкой в руке я и закемарил, положить ее было некуда, да мне и не пришлось ее съесть. Сколько дремал, я не знаю. Проснулся, вернее будет сказать, очнулся от какого-то неприятного щекотания, это крысы потихоньку съедали мою пайку, я вскочил как ужаленный, но тут же взял себя в руки. И все-таки любой согласится, что такое соседство не из приятных. Я стал ходить по камере, чтобы как-то отвлечься, но в таком «красном уголке» особенно и не походишь. Нет-нет да и попадается под ногу одна из крыс, писк стоит после этого такой, что душу выворачивает. Я держал в руке остаток пайки и думал, когда будет совсем невмоготу от этих тварей, накрошу им в углу и хоть несколько минут покомарю. Но это я так думал. Прошло еще некоторое время – и я уже начал скучать по воде, так как твари стали

доставать, как вдруг пошла вода, но не по полу, а полилась с потолка. И к этому я был готов, но все же неизвестно, что лучше – когда крысы у тебя, спящего, пальцы грызут, или когда с потолка вода на тебя льется, или когда ты, как сайгак, скачешь по бугоркам в этой цементной коробке. Одно было ясно: нужно не упасть, иначе все, ты не жилец. Читателю, я думаю, будет легче представить, чем мне написать, как я провел эти десять суток, но упасть не упал.

Когда меня принесли к Хозяину, он с ехидной ухмылкой спросил, не переменял ли я свои взгляды. Я был так поражен его бесчеловечностью и с такой яростью посмотрел на него, столько гнева и злости было в глазах, что мое молчание было красноречивее любых слов. Через несколько часов после того, как меня принесли в камеру, пришли за Саньком. Я успел ему рассказать, что его ждет, ничего не приукрашивая, а, наоборот, чуток сгущая краски, чтобы ему хоть немного там было легче. Где-то дня три-четыре отхаживали меня пацаны, прежде чем я пришел в себя. Все это время я не переставал думать: как там Санек? Слабей меня он, конечно, не был, но кто его знает, как карта ляжет. Все же, когда я поднялся, мы в камере стали думать, как прекратить этот беспредел. Может быть, вопрос и не стоял бы так остро, если бы не Серега. Он прямо таял на глазах, его съедала чахотка, а ведь следующая очередь была его. Хуже всего было то, что пацаны еще без нас почти все перепробовали: и резались, и голодали, и бунтовали, пытаясь такими способами прекратить беспредел, но все было тщетно. Здесь нужно было придумать что-нибудь неординарное. Я не помню, кому из нас пришла идея поджечь этот барак, но принята она была с энтузиазмом, нужно было только подготовиться и дожидаться Санька. И когда все было обмозговано, мы с нетерпением стали ждать нашего кореша. Наконец Санек вернулся, вернее, его принесли. И как только за ним закрылась дверь камеры, мы стали приводить наш план в действие. Прежде всего мы дождались, пока смолкнут шаги вертухая в коридоре, и, как только все стихло, стали забивать костяшки домино в дверной проем. Таким образом мы расперли дверь, теперь ее надо было только ломать, иначе не открыть, но это было еще полдела. Углы, где потолок соединяется с двумя стенами, в том числе и с той, в которой дверь, мы, став друг на друга, подожгли. Теперь можно было перевести дух, но тем не менее надо было спешить, ведь мы знали, что барак старый, построенный еще в прошлом веке, а значит, сруб сухой и вспыхнет как порох, к тому же дело было летом. Пока мы перекладывали Санька на пол в противоположный конец камеры, пришли за Серегой. Открыв кормушку, надзиратель крикнул: «Цыплаков, на выход!» Никогда не забуду, как Серега подошел к кормушке и что-то сказал вертухую, потому что тот аж с пеной у рта стал орать на него и ругаться. Но, видно, вертухай почувствовал запах и, даже забыв закрыть кормушку, с криком «горим!» ринулся из барака. Да, действительно, мы горели. Сгрудившись в противоположном углу стены, которую подожгли, мы, прижавшись друг к другу, как молодые спартанцы легендарного отряда, стали ждать. По прошествии стольких лет я и сейчас могу сказать точно, что мы не знали, чего ждали. Нас окрыляла мысль, что мы можем хоть как-то противостоять этому беспределу, что хоть несколько часов мы будем хозяевами самим себе. Все мы так устали от издевательств этих деспотов, что выбора у нас не было, но о том, что сами можем сгореть, как-то даже не думали. Чем ломали дверь, я не знаю, но дверь не поддавалась, она была массивная и прочная, да еще покрыта железом. Кормушка была открыта, и в нее кто-то уговаривал нас потушить огонь. Даже если бы мы и смогли потушить огонь, то делать бы это не стали, а потому даже не обращали внимания на просьбы. Вся камера наполнилась дымом, – видно, взялась крыша и огонь пожирал ее. Был слышен такой треск, будто стреляли одиночными выстрелами, а иногда и дуплетом. Зарево, очевидно, охватило округу, мы слышали сирену пожарных машин, ругань, крики – все смешалось в общий хаос. В камере уже почти нечем было дышать, кашель душил нас, особенно Серегу. Бедолага, казалось, сейчас выплюнет внутренности. Так продолжалось где-то около часа, как вдруг мы слышали треск, но не такой, как от огня, а какой-то скрипучий. Затем угол напротив нас начал трястись, бревна стали раздвигаться, и мы увидели маленький проход в углу. Через минуту бревна посыпались как спички, проход рас-

ширился, это трактор выворачивал угол барака. От потока воздуха огонь вспыхнул в камере, и мы чудом выскочили, таща Саньку почти волоком. Снаружи было столько народу, так ярко светило солнце, что мы на какое-то мгновение растерялись. Но опомниться нам не дали – чуть ли не волоком нас потащили в сторону вахты и закрыли в одну из камер. Было столько шума, гама и суеты, связанных с поджогом барака, что у нас, естественно, не оставалось никаких шансов на снисхождение. Да мы и не надеялись на снисхождение, напротив, приготовленные заранее два супинатора и одна мойка были тут же извлечены, как только нас закрыли в этой камере. Мы, естественно, приготовились к самому худшему. Но за нами никто не приходил, а было уже время отбоя. После отбоя камеру открыли, появились какие-то незнакомые менты, которые ходили, не обращая на нас внимания, вроде чего-то ждали. А ждали они «воронок» и, как только он подъехал, нас чуть ли не закинули в него в течение нескольких секунд, – видно, опыта им было не занимать. Но по дороге менты вели себя нормально, даже дали нам закурить. От дыма табака мы опьянели, ведь курева нам не выдавали и неоткуда было его взять. Даже то, что мы с Саньком привезли, у нас отобрали, а капитан, издеваясь, сказал: «Конфисковано в пользу бластных». С первыми лучами солнца мы вылезли из «воронка» на тюремный дворик в Чите.

Глава 5 Смерть Сереги

Без шмона и вообще без всяких препятствий нас водворили в камеру, о которой можно было только мечтать. Белые стены, панцирные шконари, да еще все восемь – одноярусные, деревянный пол, как положено, и вообще ухоженная хата. Чувствовалось, что здесь недавно были люди, но, видно, их перевели второпях, так как мы повсюду находили тому подтверждение. Не прошло и часа с момента нашего водворения, как нам принесли постельные принадлежности, даже по одной простыне и наволочке, от чего мы давно отвыкли. Серега наш был весь белый как мел, на ногах не держался, его всего трясло, да еще и кашель душил невероятный, а мы ничего не могли поделать. Положили его на шконку и подложили несколько подушек под голову, попросили ключника, чтобы он вызвал врача. Будет обход, и врач подойдет, услышали мы в ответ, им и удовлетворились. Хипиш мы всегда успеем поднять, решили мы. Санек был тоже болен, не лучше Сереги, мы положили их рядом, а сами решили бодрствовать: кто его знает, что у них на уме. Мы знали точно, нас просто так не оставят, а потому и не обольщались на этот счет. Наше оружие, то есть два супинатора и мойка, остались при нас, так что отпор мы могли дать в любой момент. При входе в камеру нас предупредили, чтобы мы не орали и не портили стены, так как другой камеры за стенкой все равно нет. Серега весь горел и бредил, но мы были бессильны ему помочь. Наконец появился дежурный и пообещал, что, как только врач придет, сразу пошлет его к нам. Что нам оставалось делать? Мы опять стали ждать. В суете и разговорах время пролетело незаметно, и вдруг открылась кормушка и появилась голова женщины в белой косынке. Лицо ее было уродливо, и хотя я с детства уважал медицинских работников, но эта женщина была отвратительна. Как позже выяснилось, ее внешность соответствовала ее поступкам. Выяснив, что к чему, она дала Сереге аспирин, а Саньку анальгин или что-то вроде этого и ушла. Если бы мы знали, что чахоточным аспирин вообще нельзя давать, так как он разжижает кровь, мы бы, наверно, проклятый аспирин эту тварь рода человеческого заставили бы через уши принимать. Но кому это было нужно? Кого могло волновать? Кто мог думать о здоровье человека, которого вот уже почти два года мучают. Температура у Сереги спала, а мы еле держались на ногах, так что после вечерней поверки мы втроем вырубались. Серега с Саньком не спали, а просто лежали, но были на стреме. Где-то под утро меня растормошил Санек и, не дав окончательно проснуться, потащил к Сереге, здесь-то я сразу пришел в себя. Он, бедняга, сидел на шконке, опущенная голова его то и дело

вздрагивала от прерывистого, учащенного дыхания, а постель была залита кровью. Пока я ухаживал за ним, вскочили Женя с Харитоном и, увидев, что к чему, стали колотить в дверь что было сил. Я сидел справа от Сереги, поддерживал его за плечи и держал за подбородок, Санек хлопотал рядом. Он давно забыл про свои болячки, видя, что другу плохо, и старался хоть чем-то помочь. У нас даже не было соли, чтобы, размешав ее в воде, дать выпить Сереге и тем самым остановить кровь. У нас и кружки-то не было, и воды тоже – ничего у нас не было, кроме отчаяния, злости, обиды на этот жестокий и бесчеловечный мир и страха за нашего друга. Мы уже чувствовали, что теряем его. Серега попросил, чтобы что-нибудь подложили ему под голову, повыше. Мы скрутили матрац и пару подушек, он уже почти сидел в постели, но ему все равно было трудно дышать. Я стал на колени позади него и прижал его голову к своей груди, чтобы при кашле его тело не сотрясало. Санек ухаживал за ним, сидя рядом, так как сам стоять долго не мог. При каждом приступе кашля голова у Сереги вздрагивала, и, как только он выплевывал мокроту с кровью, еще некоторое время конвульсии сотрясали его тело, потом он успокаивался. Через пятнадцать минут все начиналось сызнова. За это время Женя с Харитоном дозволились вертухая. Открыв кормушку и видя, что положение серьезное, он побежал звонить. Мы сидели вокруг Сереги, один Бог знает, что мы пережили за это время. Вдруг кашель с новой силой начал его одолевать, изо рта полетели брызги крови, он начал биться в конвульсиях, хрипеть, я уже не мог его удержать, мы с Женей старались как-то его успокоить. И вот, посмотрев на каждого из нас поочередно, будто что-то хотел сказать, он вытянулся как струна, дернулся несколько раз и сник. Сердце нашего друга перестало биться, мы были потрясены. Первым пришел в себя Харитон и закрыл Сереге глаза. Как описать то горе, то отчаяние, ту боль утраты, постигшую нас? Наше горе было безмерно, мы потеряли друга. Мы сидели вокруг умершего и, не стесняясь друг друга, плакали. Каждому из нас было в ту пору по 16 лет, но в этот день мы повзрослели лет на десять. Не меньше часа прошло с тех пор, как вертухай побежал звонить, и только сейчас мы услышали, как открывается дверь, увидели, как в камеру входит коновал двухметрового роста в белом халате, с двумя легавыми по бокам. И что больше всего нас поразило, вошли они не торопясь, как будто уже знали, что спешить некуда. Вся наша злость, обида, отчаяние – все вырвалось наружу. Обезумев от гнева, мы, как по команде, бросились на них. Для них это не было неожиданностью. А через пять минут мы уже лежали рядом со своим покойным другом с руками, связанными сзади полотенцем. Правда, при этом нас даже ни разу не ударили – не понадобилось, мы бы все равно с ними не справились. Врач постоял немного, посмотрел с грустью на Серегу и на нас и сказал с нотками сострадания: «Я сочувствую вашему горю, но другу вашему, к сожалению, уже не поможешь, полежите немного, придите в себя, а когда остынете, развяжите друг друга. Все, что произошло, забыто, поняли?» Затем врач пошел к двери, где двое вертухаев ждали его, и уже прямо перед выходом он добавил: «Я только пришел на дежурство, и, как только мне передали, что в камере тяжелобольной, я тут же пришел к вам. Но, к сожалению, уже поздно, сами видели, так что на мне вины за смерть вашего друга нет». И резко вышел из камеры. В течение пяти минут мы развязали друг друга, затем навели относительный порядок, положили матрац на пол, постелили простыню, положили Серегу, вытерли ему лицо слюнями, воды у нас не было, накрыли его простыней и сели вокруг. Ни одного слова не вырвалось у нас, с тех пор как легавые ушли из камеры, каждый молча прощался с другом. Через полчаса пришел все тот же врач вместе с какими-то большими начальниками, а сзади стояли несколько человек из хозобслужки. Мы сидели молча, даже головы не подняли. «Это что, те спецовые?» – спросил кто-то. «Да», – послышалось в ответ. «Ну и взгрел нас Маресьев добром, нечего сказать», – услышали мы все тот же голос. Еще немного постояв, они вышли, не сказав нам ни слова, остался только врач. Несколько минут он стоял молча, а затем сказал, чтобы мы прощались. Мы попросили было оставить Серегу на какое-то время, но врач объяснил, что на улице жара, труп начнет быстро разлагаться. С такими доводами нельзя было не согласиться. Каждый из нас поцеловал

Серегу в лоб, и, взяв с четырех сторон матрац, мы вынесли покойного ногами вперед в коридор и положили на пол. Постояв еще пару секунд возле него, мы молча вернулись в камеру. Врач в это время о чем-то говорил с одним из шнырей, а затем, взяв у него пачку махорки и тарочку, передал их нам. Мы поблагодарили, но, прежде чем закрыть дверь, он сказал: «К концу дня я, возможно, вызову вас, я смотрю, вам тоже необходима моя помощь». И, закрыв камеру, ушел. Курева у нас не было вообще, и махорка была кстати.

Мы закрутили по скрутке, закурили и молча сидели, ни о чем не думая. Голову заволокло туманом и даже не хотелось шевелиться, мы так устали, что только сейчас это почувствовали. Как прошел день, сейчас трудно вспомнить, помню только, что врач нас не вызывал, и после отбоя мы, не раздеваясь, заснули, уставшие и измученные. На другой день после утренней проверки нас всех куда-то повели и закрыли в боксик. Минут через 15–20 опять всех вывели, и оказались мы в кабинете все того же врача. Он пригласил нас сесть, вдоль стены стояли стулья, на них мы и сели. И вот что он нам сказал: «Послушайте меня внимательно, пацаны, и хорошенько подумайте над моими словами. А потом окажу вам посильную медицинскую помощь, потому что каждый из вас в ней нуждается не меньше, чем любой больной, находящийся в больнице». Вчера вместе с ним в камеру к нам заходили Хозяин, кум и режим. Покойник в любой тюрьме – ЧП, так вот, оказывается, вчера же Хозяин ругался по телефону с Маресьевым. «Вас привезли в тюрьму, – продолжал врач, – чтобы возбудить уголовное дело и судить за поджог. Но смерть вашего друга резко все изменила, и теперь они рады от вас избавиться. Так что первым же этапом вас отправят – куда, я не знаю, но, думаю, подальше от этих мест. Все это я сказал вам потому, что знаю и вижу, как вы дружны, сколько вы выстрадали и сколько хвятили горя. А потому поймите меня правильно и оцените мою откровенность». Что мы могли сказать в ответ? Конечно, поблагодарили его за все. Каждому из нас врач оказал медицинскую помощь, насколько это было возможно, и, попросившись, мы ушли, вернее, нас повели в камеру. Не прошло и недели, как нас забрали на этап. За эти десять дней, что мы пробыли в тюрьме, мы ни с кем, кроме этого врача-капитана, не общались, и все, как он нам сказал, так и произошло. Поезд мчался куда-то на запад уже несколько часов, когда нас наконец-то завели в купе «Столыпина». Мы покидали этот Богом и людьми проклятый край, и каждый из нас создавал, что избавлением мы были обязаны нашему покойному другу Немало будет в жизни у нас подобного рода примеров, не одному бродяге, отдавшему жизнь за общее дело, придется закрыть глаза, но мы никогда не забываем тех, благодаря которым мы продолжаем жить.

Глава 6 Тетя Зоя

Как-то по прошествии времени мне попался журнал, уже не помню какой, одна из статей в нем меня весьма заинтересовала. Вот что было в ней написано: в 1909 году Фанни Каплан была приговорена к смертной казни, в том же году она ослепла, и смертная казнь ей была заменена вечной каторгой – отбывала наказание она в Нерчинске до 1912 года, в этом же году зрение вернулось к ней и она совершила удачный побег. И вот о чем я подумал.

Если полуслепая женщина умудрилась бежать с каторги, то, значит, условия содержания в то время позволяли совершить побег. Мы же, по прошествии пятидесяти лет, даже не помышляли об этом. Но не потому, что не хотели бежать, – напротив, мы готовы были на самые отчаянные поступки, и, как, наверное, читатель заметил, не было способа, который бы мы не попробовали, а просто потому, что это было невозможно. Вот что такое прогресс в России!

Уже трое суток мы шли по этапу, и никого к нам не подсаживали. Было теплое августовское утро, в коридоре «Столыпина» окна были открыты, и, лежа на верхних нарах, мы смотрели, как над озером медленно поднимается утренняя дымка. Поезд шел вдоль озера Байкал, впереди был Иркутск. С конвоем нам повезло, это были сибиряки. Еще вчера старшой

обещал, что посмотрит «конверт» куда мы едем и почему к нам никого не сажают. Вот мы и пасли его, чтобы не пропустить. В «Столыпине» нет таких понятий, как подъем, отбой, день, ночь, – круглые сутки движение. Где-то остановка, кого-то сажают, кого-то выводят, из купе в купе пересаживают, шмон, хипиш – в общем, жизнь ни на минуту не останавливается. И поэтому нам было интересно, почему нас не шмонали, к нам никого не подсаживали и никуда не переводили. Такого никогда раньше не было. С того момента, как мы выскочили из горящего барака, и по сей день у нас ничего не было. Не было ни курева, ни спичек, а об остальном и говорить не приходится. «По ходу пьесы» мужики, которые ехали рядом в купе, поделились с нами куревом, харчей немного подогнали, да и солдаты чаем взгрели. В общем, условия были сносные, и мы потихоньку приходили в себя. А тут и старшой прибыл. «Ну и намутили вы, видно, воду, пацаны», – с улыбкой сказал он. «Едете вы до Свердловска, но без подсада, думаю, поняли». Затем позвал сержанта и сказал: «Никакого отказа огольцам ни в чем, понял!» и с той же приятной улыбкой он подмигнул нам и пошел вдоль прохода, напевая что-то вроде «Мурки». Мы были старшине очень благодарны. Тот, кто шел этапом, знает, как важно знать, куда тебя везут. Да и вообще, неопределенность всегда настораживает и угнетает. Что там было еще написано, нас не волновало, да мы в принципе догадывались, ибо формуляр «без подсада» означал, что к нам предписано никого не сажать и нас ни к кому не подсаживать. А такого рода формуляры выполнялись очень строго везде и всегда. Мы узнали больше, чем нам положено было знать, в обиде ни на соседей, ни на солдат не были, а потому находились в настроении, насколько это было возможно после того, что мы пережили. Мы готовились к иркутской пересылке, так как нам сказали, что первый этап нашего пути кончается именно там. Однажды мы с Саньком тут уже побывали, когда ехали в Нерчинск. А будучи молодыми и шустрými от природы, мы вполне могли здесь ориентироваться. На этот же раз в Иркутске нас продержали всего несколько дней и снова потянули на этап. Мы уже, естественно, не удивлялись, что в камере сидели одни. Также и в «Столыпине» мы опять были одни, но на сей раз нам крупно не повезло, конвой был из Азии. Обычно конвой выводит арестантов с вещами по одному и шмонает. У нас вещей не было, мало того – мы были в одних летних рубашках. Но каждого из нас эти «стражи порядка» обыскивали полчаса, чуть ли не по миллиметру обшаривая все, вплоть до трусов. Таковую же бдительность они проявляли, если нам что-то передавали арестанты, мало того – их при этом надо было чуть ли не умолять, чтобы те взяли для нас либо курево, либо чего-нибудь приключнуть. Сами же мы молчали, мы были малолетки, а потому «держали масть». Поскольку, как я говорил, мы были в одних летних рубашках, арестанты пытались передать нам кое-какие вещи, но конвой не то что вещи, еду и то не всегда брал, так – по настроению. С куревом мы кое-как еще перебивались. Почти всегда звучало в наш адрес сакраментальное «не положено». Вот так мы ехали уже почти месяц. Было начало сентября, спать уже было холодно, в этих широтах в это время уже прохладно. Поэтому мы забирались на самый верх и, повернувшись спина к спине, пытались хоть немного поспать. Но большую часть ночи бодрствовали: то приседали, то отжимались – в общем, как могли спасались от холода. И немудрено, что, прибыв в Свердловск, мы все четверо еле держались на ногах. Сказать, что мы были больны, – значит ничего не сказать. Сойти на перрон нам помог все тот же конвой, затем мы попросили арестантов, которые уже давно вышли из вагона, помочь нам. Дважды повторять им не пришлось. Четверо людей поздоровей вышли из оцепления, подошли и, взяв меня с Саньком на руки, понесли. Как для конвоя, так и для конвоируемых ничего удивительного в этом не было, за исключением того, что перед ними были почти дети, ведь мы с Саньком больше чем на 12 лет не выглядели. В одних летних рубашках с коротким рукавом, в хлопчатобумажных брюках и сандалиях (летнее лагерное обмундирование), мы дрожали, и нас всех била лихорадка. Мы были почти в бессознательном состоянии, и, как доехали до тюрьмы, я не помню, в «воронке» я бредил.

В самой же тюрьме нас на этот раз посадили со всеми вместе. Затем потихоньку всех стали рассортировывать, и в конце концов мы опять остались одни. Но сидеть не могли, лежали на лавках вдоль стен и бредили. Не помню, сколько времени мы были в таком состоянии, как вдруг открылась дверь и вошли женщины. Я почувствовал, что моя голова прижалась к чему-то мягкому и душистому, так, по крайней мере, мне показалось, это, кстати, была грудь одной из женщин, которая несла меня, больше я уже ничего не помнил. Вот что произошло, пока мы лежали на лавках в конвоирке. На наших делах было написано: «Содержать в строгой изоляции». Таких камер, чтобы поместить нас одних, то есть всего четверых, в свердловской пересылке нет. Там всегда все было забито. Камеры по 150–200 человек, в зависимости от потока – круглые сутки движение: увозят, привозят, сортируют. Кому есть дело до четверых пацанов мал мала меньше, малолеток, которым, правда, палец в рот не клади – отгрызут по локоть, да еще таких больных. Это и было главное, что определило нашу дальнейшую судьбу. Да, на наше счастье, больницы на пересылке не было, а мы были действительно больны, вот и решило начальство посадить нас к женщинам, хоть это и не было положено. Но, к чести начальства свердловской пересылки, они поступили как люди, и не вспомнить их с благодарностью – значит покривить душой.

Через неделю я пришел в себя, кореша мои уже давно оклемались, но, как только открывалась дверь, женщины заставляли их притворяться больными. Если менты спрашивали, как мы, то им показывали на меня, а я, мягко говоря, был не в лучшей форме. За все это время ни разу не пришел в себя, постоянно бредил. Увидев, что улучшение в нашем состоянии здоровья не наступило, менты удалялись доложить обстановку начальству. Забегая вперед, скажу, что бесследно немочь моя не прошла. Я заработал чахотку на всю оставшуюся жизнь, но об этом и о многом другом мы не знали и не могли знать. Кореша мои, как только пришли в себя, описали женщинам нашу одиссею, но уже одного того, что мы были на спеце, хватало, чтобы обратить на нас внимание. Женьку позвали к кабуру и попросили рассказать все сначала. Женщины сказали Жене, что за стенкой сидят урки, и если они узнают нашу историю, то уж постараются о нас побеспокоиться. Представьте, как были рады мои друзья, узнав, что через стенку сидят воры. Естественно, они все рассказали, и на следующий день воры решили: «Как только кореш ваш оклемается, перетащим вас к нам в хату, это уже обговорено, так что ждите и помалкивайте». Радости друзей моих не было конца, но ускорить мое выздоровление они были не в силах. Зато я был в надежных руках, оставалось только уповать на судьбу и ждать. Смееу заметить, что я действительно был в надежных руках. Звали мою избавительницу тетя Зоя. В Благовещенске – а весь этап, который находился в камере, был из Благовещенска – она провела девять лет, а потому в таких болезнях, которой хворал я, что-то смыслила. Лагерь, где они сидели, был огорожен лишь колючей проволокой от мужского, и им часто приходилось выхаживать каторжан после карцеров, а у некоторых там томились мужья – время было такое. По масти была она багдадка, а это значило, что выше ее в иерархической лестнице бабьих мастей не было. То есть все слушались ее и подчинялись, даже жучки, – как бы ни было, они стояли на ступень ниже. Сейчас в тюрьмах этого нет, даже те, кто сидел позже, не знают об этом времени, потому что негде узнать. Но я считаю, что многим не мешало бы знать о традициях того времени. А тогда последним куском хлеба, осьмушкой табака, последней тряпкой готовы были поделиться каторжане и каторжанки, чтобы как-то облегчить участь друг друга. И законы братства, так же как и законы чести, были суровы и справедливы. Потому что время было суровое, если не сказать жестокое. Сидела тетя Зоя за вооруженный разбой. Их было пятеро в деле, двоих убили при побеге, троим же дали по 25 лет, так как на них была кровь легавого. В общем, оставалось ей еще 16 лет, но она и не надеялась, что освободится. Ее статья не шла ни под какие льготы, так как она сидела по указу 2/2.

Первое, о чем я подумал, когда очнулся, – я на том свете. Вокруг женщины (что абсолютно невероятно), вдали кое-где мужские силуэты (это кореша мои ходили). Ну, думаю, на

«сборке» все к Всевышнему в очереди стоят, по одному, видно, выдергивают. Я огляделся. Тетя Зоя лежала на спине, вернее, почти лежала, а моя голова покоилась у нее на правой груди. Левую грудь я обнял правой рукой, и мне почему-то казалось, что это моя мать. Очнувшись через неделю после лихорадки, после всех кошмаров, что мы пережили и через которые прошли, я испытывал настоящее блаженство, поэтому и подумал, что уже прошел проверку и Всевышний определил меня в рай. Я даже мысленно благодарил Его. Но чей-то голос и смех: «Ой, Зоя, смотри, оголец-то оклемался, глянь, зенками как зырит» – спустили меня на землю. Осторожно поднявшись и придерживая меня правой рукой, она спросила: «Ну как ты себя чувствуешь?» – «Хорошо, – машинально ответил я, – спасибо». – «Ну-ка на, выпей вот это». Мне поднесли какую-то пахучую жидкость в кружке. «Пей залпом», – сказала одна из женщин, что я и сделал. Меня всего передернуло, я аж чуть не подпрыгнул, как говорится, в зобу дыханье сперло. Потихоньку становилось все легче, и наконец я пришел в себя. Затем меня заставили похлебать чуток бульона, и я уже был почти здоров. Завязав в платок кусок какой-то коры, тетя Зоя сунула мне ее в карман брюк: «Завтра вас воры к себе перетянут, там все правильно будет, ты еще слаб и нуждаешься в уходе. Так что, если у самого не будет времени, передашь мне, я сама питье приготовлю, а то у меня нет больше, последнее тебе отдала, на здоровье». Вот такая была эта женщина. Я узнал, что она почти не спала всю неделю, пока я болел, и поила, и кормила меня. Женщины нам были очень рады, почти все годились нам в матери, а некоторые – в бабушки. У тети Зои на свободе остался сын моего возраста и престарелая мать. Арестантка и не рассчитывала их когда-нибудь еще увидеть, может быть, поэтому она меня выхаживала. Одно могу уверенно сказать, это была удивительная женщина, она мне спасла жизнь, и я ей останусь благодарен до конца своих дней. Я лучше, чем кто-либо, понимал и любил ее как мать, ведь сердце ее было как бриллиант чистой воды. И хотя острые грани могут резать стекло, тем не менее своей глубокой чистотой сердце тети Зои могло понять и откликнуться на людское страдание. Возможно, читая эти строки, кто-то ухмыльнется, можно ли отождествлять «бриллиант чистой воды» с бандиткой и каторжанкой. Отвечу словами поэта: «Часто в нашем мире все наоборот – умному презренье, дураку почет».

Часть III

Воровские университеты

Грубый и тупой человек, чья мелкая душонка открыта для скучных и низменных требований повседневной жизни, испытывает лишь насмешливое презрение при виде благородного сердца, неодолимой силой страсти погруженного в бездну страданий.

Деккер

Глава 1

В камере воров

Несколько шпанюков, что помоложе, встретили нас прямо у дверей и проводили в круг. Камера была точно такой же, какую мы только что покинули (только женщин там было человек сто или того больше), а здесь было немногим больше сорока. Но все, кто находился в этой камере, были воры. По своим габаритам камера была очень большой, и при таком малом количестве людей это резко бросалось в глаза. Цементный пол весь потрескавшийся, а кое-где из-за отсутствия больших кусков покрытия напоминал стройплощадку; два ряда сплошных нар, которые были изрядно изъедены насекомыми, и оттого все они имели множества маленьких отверстий; в углу в стене были выбиты полочки для пайки, ложек и кружек; в противоположном углу стоял сорокалитровый оцинкованный молочный бидон, он был черным от грязи и времени – это была параша. Над верхними нарами находились два зарешеченных почти наглухо окна, в которые с трудом пробивался дневной свет. Вот и весь незамысловатый интерьер той пересылочной камеры, как и многие тысячи ей подобных. На нижних нарах сидело около десяти человек, они образовали подобие круга, возраст их колебался от 40 до 70 лет. В центре круга на белой и чистой тряпочке лежало несколько больших кусков сахара, из алюминиевых кружек исходил аромат цейлонского чая, две открытые банки консервов «Килька в томатном соусе» и кусок голландского сыра дополняли стол из «деликатесов», который составлял по тем временам шикарное арестантское угощение. Вот к этому столу и пригласили нас те, кто встретил у дверей камеры. Поздоровавшись со всеми в отдельности, как и положено, мы присели в круг. «Ну что, босячки, намаялись?» – спросил у нас один из пожилых воров. «Ничего, в жизни может быть еще и похлеще, дай-то Бог, чтобы вас минула эта участь. Ну да ладно, угощайтесь чем Бог послал, не стесняйтесь и ни на что внимания не обращайтесь, ну а там ипогутарим». Дважды нам предлагать было не нужно, и мы принялись за еду не спеша, но с аппетитом, свойственным нашему возрасту и месту пребывания. По ходу трапезы мы произвольно стали осматриваться вокруг, чтобы немного познакомиться с камерой и ее обитателями. И то, что, хорошенько приглядевшись, мы увидели, нас очень удивило. На верхних нарах людей не было, там лежали скудные арестантские пожитки, да еще изредка кто-нибудь из шпаны забирался поиграть в стирыв, чтобы убить время. На нижних нарах, с одного их конца и до другого, почти прижавшись друг к другу, лежали люди, но что это было за зрелище? Воображение рисовало картину: будто все они попали в окружение и пробивались из него с боем, но при этом многих потеряли убитыми, ну а остальные были ранены. Как читатель узнает чуть позже, в этом сравнении я ненамного отстал от истины. Те арестанты, которые встретили нас у дверей, еще могли как-то передвигаться, но и они все были изувечены и ранены. У кого-то не было глаза, у других были переломанные носы, поврежденные черепа, поломанные руки и ноги. Как я говорил ранее, на улице было уже прохладно, но в камере стояла почти невыносимая духота вперемежку со зловонием, поэтому все почти были по пояс раздетыми, и зрелище это было весьма

впечатляющее. Тела людей были покрыты свежими, видно, недавно нанесенными страшными ножевыми ранениями, но уже успевшими загноиться, перевязанными пропитанными насквозь кровью и гноем бинтами и тряпочками, от которых исходил зловонный запах. Так выглядели те, кто мог передвигаться, каково же было состояние тех, кто лежал и почти не мог самостоятельно встать и дойти до параши. Я не берусь описывать подробно, достаточно сказать, что они медленно угасали, как некогда ярко горящие свечи. Забегая вперед, скажу, что за время нашего пребывания в этой камере, то есть за четыре месяца, померло больше двадцати воров – и все от неизлечимых ран и заражения крови. Но об этом более подробно я напишу в следующей главе, а пока, как говорится, приключув, чем Бог послал, мы стали знакомиться с братвой. Ну первым вопросом, естественно, был: «Где это их так?» Хотя некоторые представления, основанные на слухах в «Столыпине» и транзитных камерах пересылок, у нас были, но они и близко не напоминали ту картину, которую мы увидели. «На войне, пацанва», – ответил нам старый, лет под семьдесят, урка, вся голова которого была перемотана бинтами, а одна рука, тонкая как плеть, покоилась на повязке из парусины, перекинутой через шею. Я не случайно вспомнил этот краткий разговор со старым уркой, так как, прежде чем продолжить свое повествование, считаю своим долгом рассказать читателю, что же за войну имел в виду старый уркаган. Но прежде мне бы хотелось объяснить, кто же это – вор в законе, а затем уже перейти к войне и другим событиям.

Тема воров в законе сейчас стала такой злободневной, что, мне кажется, только ленивый журналист, телекомментатор или писатель не касается этой проблематики. Но что они знают об этом, из каких источников черпают свои знания, чтобы потом дурить мозги людям! Я постараюсь быть объективным и рассказать как о самих ворах, так и о законах, которых они придерживались. Прежде всего, в преступном мире такое словосочетание, как «воры в законе», не употребляется вообще. Ну и тем более сами воруы никогда так друг друга не называли ни в глаза, ни за глаза. Я думаю, что это словосочетание пришло в литературу и в разговорную речь не из преступного мира, это точно. Мало того, даже слово «вор» употреблялось в обиходной речи преступного мира крайне редко, так как слово это, как для самих воров, так и для тех, кто живет этой жизнью, но еще не вступил в семью, свято. В обращении между собой, когда речь идет о ворах, обычно употребляются слова «жулик», «свояк», «шпанюк», «блатняк», «урка». Если хотят подчеркнуть, что именно этот человек вор, говорят: «Он в полноте» или «Он при своих». Если же интересуются, с какого времени, то спрашивают: «Давно ли был подход?» или «Давно ли ворует?». Ни один арестант не посмеет присвоить себе воровское имя, если он не был признан массой воров на сходке. Того же, кто пытался засухариться, ждала неминуемая расплата и, как правило, в последующем смерть. Вор и воровская идея – понятия неразделимые, я попробую сейчас объяснить это направление в преступном мире, если можно так выразиться. Но прежде мне бы хотелось рассказать один случай, который произошел водной из крытых в Тобольске и который во многом объясняет некоторые нюансы сложных воровских законов. Крытая – это вообще вотчина воровская, и где, как не здесь, происходит все самое важное и значимое для воровского братства. Где, как не здесь, решаются все мало-мальски важные, а порой и глобальные проблемы преступного мира в целом, которые ставит жизнь в образе гулаговского надсмотрщика над теми, кто волею судьбы оказался за колючей проволокой. Но крытая – это еще и своего рода сито, и не всем дано через него пройти. Так вот, в камере, в проходе, сидят двое шпанюков на нарах и ведут непринужденный разговор. В ходе разговора один, видно вспомнив что-то из прошлого, говорит другому: «Вот когда я был фреаром...» Сказал и тут же осекся. «Что ты сказал?» – спросил второй. «Я оговорился», – ответил рассказчик. «Так не оговариваются», – сказал ему урка и тут же тормознул его. Слово «тормознул» в преступном мире употребляется только среди урок и только в тех случаях, когда кто-либо из воров совершил не подобающий вору поступок или высказался вразрез с воровскими канонами, что и произошло в этом случае. При подобного рода обстоятельствах до тех пор,

пока тот, кого тормознули, не соберет по этому случаю воров, чтобы на сходняке масса решила его дальнейшую судьбу, он не вор. В том случае, о котором я рассказывал, человек этот собрал воров – и что же? На сходняке воры единогласно решили, что человек этот попал в семью случайно, и «оставили его не вором». А это значит, что уже никогда ему не войти в семью, и называться вором он не сможет. Но не надо путать два разных понятия – «тормознули» и «оставили не вором», что сплошь и рядом делают по незнанию те, от которых, к сожалению, иногда многое зависит как в тюрьме, так и в лагере – я, конечно, имею в виду общее положение. Почему же урки порешили так, а не иначе? Да потому, что не мог жиган быть сначала ффраером, а уж потом стать вором. В воровском мире, по большому счету, нет иерархической лестницы, ибо ворами не становятся, ими рождаются. Это одна из аксиом преступного мира. Думаю, никто особенно не удивится, если я скажу, что, будь то Россия царская или Россия революционная, время нэпа или перестроечный период, воры в среде преступного мира были и останутся самой привилегированной кастой. Другое дело – профессии: карманник, домушник, медвежатник, майданщик, форточник, ручечник и прочие – все они, по своей сути, были ворами, то есть настоящими ворами, а профессии говорили о том, на чем он специализировался. Вору не только самому претило, но, даже находясь в преступной среде, он не имел права убить, изнасиловать или что-либо отнять. Эта «каста избранных преступников» формировалась потихоньку, внося по ходу жизни свои коррективы, поправки и всякие новшества для чистоты и упрочения своих рядов. Основную же роль «воровского братства», которое повлияло на жизнь и деятельность преступного мира в целом, я думаю, следует отнести ко временам нэпа. В это время уже определились некоторые основные воровские каноны, которые и по сей день свято чтут в воровской среде. Некоторые из них были с годами пересмотрены, ведь жизнь не стояла на месте. Опишу часть из них.

Изначально вор не мог жениться, даже паспорт советский иметь ему было запаadlo. Но с годами, согласуясь с принципом, что любая вера должна быть во благо людское, воры все же на тех же всесоюзных сходняках начали приходить к выводу о нецелесообразности некоторых первоначально установленных канонов и стали пересматривать их, так как они были уже неактуальны и не соответствовали духу того времени. Приведу один пример. До 1974 года вся камерная система ГУЛАГа была до отказа забита теми, кто отказывался пришить на робу бирку. Это были в основном бродяги и воровские мужики, а по тем временам, можно сказать, они составляли половину всего контингента заключенных страны. О ворах я вообще молчу, так как это был само собой разумеющийся принцип, они сидели в крытых. По большому счету, бирки не были чем-то из ряда вон выходящим с воровской точки зрения. На маленьком кусочке материи писались фамилия, имя, отчество и отряд, в котором находился заключенный. То есть это были номера, как в концлагере. Думаю, что это была одна из причин, почему многие отказывались пришить злосчастный кусок материи. Еще одной препоной служило то, что лагерная нечисть пришивала себе разного рода нашивки и носила повязки. Они были красного цвета и обозначали принадлежность к какому-либо из лагерных красных комитетов. Бирка же была обычным куском серой материи и должна была обозначать лишь ваши личные данные. Но тем не менее ее не хотели пришивать, а администрации из ГУЛАГа, видно, был дан строгий приказ на этот счет – не идти на попятную. В то время даже все крытые страны в основном были забиты теми, кто отказывался пришить бирку. Когда ситуация стала катастрофической, так как тысячи порядочных людей буквально гнили в гулаговских застенках, а это был не тот случай, когда нужно класть на алтарь Идеи жизнь многих людей, в сангороде, на станции Весляна, в Коми АССР, собрался сходняк, на котором воры порешили: «Кто желает, может бирку надевать, и при этом поступок не будет вменяться ему в вину». Как известно, лагерный телетайп работает быстрее обычного, а потому в самый короткий срок эта проблема была решена по всей стране, точнее будет, наверное, сказать, по всем тюрьмам и лагерям страны. Я сам в то время сидел в Коми АССР, в Княж-погосте, общался со многими урками, которые были на этом сходняке,

в частности с Песо, Колей Портным и многими другими. И хорошо помню ту пору и те проблемы, которые ставила жизнь в лагерных таежных условиях, да и не только таежных. Кстати, в управлении в то время были такие именитые воры, как Вася Бриллиант, он сидел на особом режиме на Иосире, в одиночке, вместе с другим, не менее именитым вором – Русланом Осетином. Там был также и Песо – о нем, когда он умер в 1985 году (а жил он в Москве), столичные газеты писали: «Умер крестный отец советской мафии, вор в законе Песо» – таким огромным был его авторитет в преступном мире. На похоронах за гробом этого легендарного авторитета преступного мира выстроилась вереница из трехсот с лишним машин, некоторые из них были с посольскими номерами. Вот с ним мне посчастливилось пообщаться и в Княж-погосте, и в сангороде на Весляне. Много чего я перенял у него, много чему научился, но об этом этапе моего жизненного пути я расскажу чуть позже, чтобы не прерывать хронологию событий. В то время на слуху были имена таких знаменитых воров, память о которых в преступном мире чтут до сих пор, – это Коля Портной, Гена Карандаш, Леня Дипломат, Джунгли, Боря Армян, Студент, Бичико, Слава Сеня и многие другие.

Глава 2 Воровское братство

Не так давно по телевидению я слышал интервью с одним «очень знающим» человеком из аппарата МВД. На вопрос телеведущего, откуда же появились воры в законе, он на полном серьезе стал нести такую чушь, что я чуть не разбил телевизор. По его мнению, сама идея появления воров в законе в свое время родилась в кабинетах НКВД и была внедрена в систему ГУЛАГа для якобы противостояния какой-то иной силе. Но затем вышла из-под контроля, разрослась и укоренилась, то есть выходит, что сама идея создания этого клана – детище НКВД. Не знаю, может ли еще кто-то, хоть немного разбирающийся в этой проблеме, сказать такую чушь, – думаю, вряд ли. Я постараюсь объяснить, как же все это в действительности происходило. До 1961 года, то есть до хрущевских реформ, о которых я упоминал в начале книги, в воровскую семью можно было войти очень просто. Живя на свободе за счет воровства и, естественно, соблюдая основные каноны воровского братства, человек, переступивший порог тюремной камеры, на вопрос, кто он по жизни, естественно, отвечал – вор. И этого было достаточно для определения его дальнейшего жизненного пути, связанного с преступным миром. Правда, его прошлым интересовались, но каждый знал, что это входит в ритуал, а потому обид ни у кого не было, все понимали, что это делается для чистоты воровской семьи, так как и тогда находились сухари, которые успевали немало воды намотить. В общем, никто на пробивку не обижался и тем более не волновался о своем прошлом. То есть, говоря языком чисто воровским, раньше «подходов не было». Этот термин относится как к довоенному периоду, то есть постнэповскому, так и к послевоенному, до реформ 1961 года. Как я ранее отмечал, в преступном мире были и есть три масти: вор, мужик и фраер, и никаких перестановок за все это время не было. Все они сидели, да и сейчас сидят вместе. Но были и отдельные зоны воровские, так же как отдельными были и так называемые сучьи зоны. Хочу заметить, что по воровским законам если вор находится в камере, в тюрьме, в лагере или даже в городе, то автоматически и камера, и тюрьма, и зона, и город считаются воровскими. В сучьих зонах сидели, мягко выражаясь, ренегаты, продавшие все и вся, что только может продать и предать homo sapiens для удовлетворения своих животных и самых что ни на есть низменных потребностей. И вот начались реформы 1961 года, и один из методов, которые ГУЛАГ решил применить для искоренения всего воровского, – сучья война. Но здесь и правительство и ГУЛАГ сильно просчитались, а поговорка «не было бы счастья, так несчастье помогло», в пользу воров, конечно, здесь будет весьма кстати. Так вот, всех сук погрузили в «Столыпин» и повезли по намеченному маршруту для уничтожения воров, а в это время в воровской зоне каждый занимался

своим делом, ни о чем не подозревая. Но до этого начальство загнало мужиков на биржу или отправило на лесоповал, поскольку в любой лагерной войне мужики всегда были на стороне воров. Происходило это кровопролитие обычно сразу после утреннего съема, когда воры почти все еще спят. Как только ворота закрывались за мужиками, которых отправляли на работу, они вновь открывались и в лагерь запускали сук. С воинствующими криками, как дикое туземное племя, суки летели, сжимая в руках ножи, штыри и стилеты, и все это тут же обрушивалось на спящих воров. Конечно, после такого внезапного нападения половина воров лежали мертвыми, зато вторая половина, мгновенно очухавшись, не оставляла шансов выжить ни одному из сук и билась не на жизнь, а на смерть. И хотя на стороне этой нечисти были такие преимущества, как внезапность, численное превосходство и физическая сила (они были откормлены, как свиньи), все же в конце концов они бежали к вахте, оставляя своих собратьев убитыми на «поле брани». В борьбе между людьми, отстаивающими и борющимися за Идею как таковую, независимо от того, воровская ли это Идея или какая-то другая, и так называемыми «борцами» за материальные блага и животные потребности, естественно, верх одерживают первые. Видно, с самого начала при разработке плана реформ это обстоятельство учтено не было, и поэтому позже начальство ГУЛАГа решило подновить программу, вот тогда и были введены придуманные им подписки. Вот как это было. После резни тех воров, кто остался в живых, развозили по пересылкам страны, чтобы затем осудить и отправить в крытые, но и до пересылок доезжали не все. Перед этапом на воров надевали наручники и выстригали посередине головы полосу – это была «инструкция» для конвоя, который сопровождал этап. Порой от лагеря до станции приходилось идти по 15–20 километров, а то и больше, машины туда не ходили, так как таежные дороги, если можно назвать вырубку посреди тайги с невыкорчеванными корнями дорогой, в любое время года были почти непроходимы. Можно себе представить, как передвигались изрезанные, искалеченные, больные люди по этим таежным тропам. Колонна охранялась конвоем с собаками по краям. При малейшем шаге в сторону стреляли на поражение без всякого предупреждения. Поправишь шапку рукой, – значит, лишишься кисти: в меткости эти молодые снайперы успели поднатореть. Марш-бросок на выживание, по-другому и не назовешь такой этап. Тот, кто был послабее, оставался лежать на снегу или в грязи, в зависимости от времени года, с простреленной для верности головой. По прибытии колонны на станцию составлялся формальный протокол, затем урок заталкивали в «Столыпин» и отправляли по пересылкам и тюрьмам. Помимо воров в «Столыпине» находились и другие арестанты. И вот здесь, чтобы конвой не напутал, и нужна была полоса на голове. Конвоем разрешалось все, у них были неограниченные права на истязания арестантов при малейшем волнении. Поэтому воров не просто били и истязали, а очень часто убивали, не доведя до места назначения. И это сходило им с рук, по крайней мере, за это никто не отвечал, ибо воры были не в законе, как принято было говорить, а вне закона, как было на самом деле. Забегая вперед, скажу, что в камере, куда мы попали, как раз и были воры, которые прошли весь этот кошмар, но это еще далеко не все. Впереди у этих бедолаг были неменьшие испытания, впереди у них были ломки. Но все по порядку. После бойни с суками воров осуждали на крытый режим из того срока, что у них оставался, правда, больше трех лет по закону не имели права давать, но для некоторых эти годы были ценою в жизнь. Крытых тюрем по стране был не один десяток, – например, в таких городах: Тобольск, Златоуст, Владимир, Соликамск, Елец, Новочеркасск, Шуша, Махачкала, Тбилиси, Чистополь, Балашов и многие другие. Но самой лютой считалась крытая в Соликамске. «Белый лебедь» – такое экзотическое название имел этот земной ад. Среди каторжан это место называлось «всесоюзный бур». Хозяином здесь был генерал, к сожалению, я запомнил его фамилию, но это, думаю, не столь важно, кстати, он тоже был фронтовик. Фашисты в своих концентрационных лагерях были сущими детьми перед этим садистом, деспотом и палачом в одном лице. Ему, видно, так хотелось выслужиться перед начальством, которое доверило ему столь важный пост, что безграничное честолюбие у него сочеталось с беспредельной жестоко-

стью. К несчастью для урока, он был в то же время человеком увлекающимся, его подобие, мне кажется, следует искать среди хищных и кровожадных животных. В нем было что-то и от волка и от гиены – не только в отношении поведения, но и во внешности. Вот далеко не полный портрет начальника Соликамской тюрьмы-крытой «Белый лебедь». В самой тюрьме надзирателя можно было увидеть крайне редко – не то чтобы их здесь не было, они были, но номинально. Их заменяла все та же нечисть, но уже более изощренная и обновленная, и кто бы вы думали? Но не станем торопиться. После фиаско, которое эта падаль терпела всегда в войне с ворами, менты давали сукам возможность отыгрываться в крытых, и методы, к которым те прибегали, отличались особой жестокостью, садизмом и бесчеловечностью. Иногда суки в изощренности превосходили своих хозяев-мусоров.

Итак, приходит этап в тюрьму. Как обычно, сначала устраивают шмон, а затем всех выдворяют в карантин, и вот отсюда, можно сказать, и начинается ломка. Что такое ломка? По ходу рассказа читатель узнает о тюремных экзекуциях, чинимых над ворами. Воровской этап встречал сам Хозяин со словами: «Вы сами знаете, что прибыли в «Белый лебедь», а здесь для вора свал один – только в могилу. Так что во избежание лишних мук и страданий, кто в себе не уверен, лучше сразу к микрофону, косяк в зубы – и в «красный уголок». Ну а остальные пусть готовятся». Затем выводили на так называемую комиссию, а там уже проходил естественный отбор. Кто был лишь в воровской оболочке, давали подписки, то есть подходили к микрофону, называли свое имя или кличку и отрекались от воровской Идеи. Мало того, их еще заставляли ругать воров всякой нецензурной бранью. После такой процедуры эта падаль уже была блядь. Но блядь и суки, хоть по своей сути почти одно и то же, все же были разные понятия. Блядью называли только тех, кто был когда-то в воровской оболочке, не иначе. Позже их стали называть прошляками, еще позже это нарицательное слово стало звучать вроде как с достоинством для тех, кто еще оставался в заключении. Ну а кто такие суки, я уже писал. Трудно себе представить, что может чувствовать человек, именованный недавно вором, который затем, не выдержав испытаний, учиняет беспредел вместе с той падалью, против которой сам некогда воевал. И против кого? Против бывших собратьев. И винить ему, кроме самого себя, некого, а это признать может не каждый. Но ведь от себя не убежишь. И чтобы заглушить чувство собственной вины, эти негодяи шли на всевозможные пытки и изощрения, в которых они с годами здорово преуспели. Видно, в этом они находили успокоение своей помутненной совести, если она еще оставалась у них на то время. После процедуры отбора воры готовились к ломкам. Сначала их сажали на фунт, то есть на самую пониженную норму питания, хлеба при этом давали 400 граммов, отсюда и пошла поговорка: «Дело не в хлебе, но почему 400?» По полгода, а то и больше, держали на фунте, где-нибудь в двойниках или в тройниках, подальше от общения с братьями, чтобы ослабить организм и убить душу. А затем начинались главные процедуры, вору необходимы были терпение, выдержка, сила воли и мужество, чтобы пройти с достоинством этот нелегкий этап воровской жизни. Воров подвешивали за руки и били палками по пяткам, привязывали к батареям и били дубинками до тех пор, пока не уставали сами. Зимой загоняли в одних портках в камеры с минусовой температурой и оставляли до тех пор, пока люди не превращались чуть ли не в льдины. Но воры терпели. Вот после этих истязаний мог произойти раскол. Кто не выдержал, тот ушел к блядям, кто выдержал, остался вором. Сколько же урок было замучено и погублено этой сворой оголтелых псов, знает только Всевышний и еще, наверно, архив ГУЛАГа. Так на «Белом лебеде» замучили одну из живых легенд воровского мира – Васю Бриллианта. Здесь же, в Соликамске, босота и похоронила его. А сколько воров похоронено на тюремном погосте? Царство им всем небесное. Вот что я имел в виду, когда писал, что правительство и начальство ГУЛАГа просчитались, решив уничтожить воров путем сучьих войн, подписок, ломок и прочих истязаний. Ибо где, как не в огне и пламени, закаляется человек, ну а нелюдь, само собой, не проходит этих испытаний и таким образом показывает свое истинное лицо.

Глава 3

Воровские авторитеты

Я уже писал раньше, что в 1997 году находился в Бутырках и был на положении в «аппендиците» – так арестанты называют этот корпус, потому что он связывает два основных корпуса: пятый и шестой. Тогда нас, положенцев, в тюрьме было трое. За пятым корпусом смотрел Игорь Люберецкий, за шестым – Рамаз, ну а помимо «аппендицита», за мной был еще большой спец. Дел хватало всем, порой я еле добирался до шконки – так уставал, да по возрасту я был старше всех самое малое лет на десять. Из воров, которые были в то время на центральной, только Дато Ташкентский и Коля Якутенок были моими ровесниками. В то время Коля Якутенок сидел в 97-й камере. По какому-то вопросу он позвал меня к себе, так как возможность перемещаться была только у положенцев. Почти всех воров держали в тройниках. В общем, после трудов праведных Якутенок предложил мне остаться у них до утренней поверки, обстоятельства тому благоприятствовали, и я остался. Знали мы друг друга очень давно, так что было что вспомнить. И вот Коля рассказал мне, как он «Белый лебедь» прошел. Тогда в Соликамск со всего Урала съехалась шпана, да Коля и сам был родом из Перми. Так вот, они сказали Хозяину: «Если хоть один волос с Якутенка упадет, тюрьму по кирпичику разберем, а до вас, блядей, доберемся». Не тронули Колю, побоялись, Хозяин знал, что здесь уже не шутят, когда дело касается такого авторитета, не за каждым вором может целая область приехать. Я хоть и слышал про этот случай от других воров, но от самого Якутенка, конечно, услышать было интересней. Недавно видел по телевизору, как его убили в казино в Перми.

Знал я еще одного старого вора, прозвище у него было Кукла. Хотя знал, возможно, сильно сказано, но общение какое-никакое было. Я тогда «работал» в Москве, в одной бригаде с Леней Дипломатом, Геной Карандашом и Пашей Цирулем. Мы жили на даче в Подмосковье, так вот захаживал к нам на огонек Кукла. По профессии воровской Кукла был кошелечник. На этом самом «Белом лебеде» Кукла провел восемь лет, и все в одиночке. Вдумайтесь только. Даже те, кто в общей сложности просидел по 20–25 лет, и то с трудом поймут, что такое восемь лет на «Белом лебеде», да еще и в одиночке. Хозяин там был с причудами, этакий экспериментатор, думал, наверное, что скоро страна дойдет до такого маразма, что и на эти темы будут писать диссертации подобные ему деспоты. Вот такой или почти такой сценарий был почти во всех крытых.

Как в связи с этим не вспомнить тюрьму в Златоусте. Там всем заправлял кум, ему самому в конце концов дали десять лет за издевательства и пытки. Он в буквальном смысле морил людей голодом. Дошло до того, что в камерах начали играть на пайки и на кровь. То есть проигравший отдавал свою пайку за день или за несколько суток – в зависимости от того, на сколько дней он играл. Что касается крови, то проигравший резал себе вену и спускал кровь в кружку. Сколько проиграл, столько и сливал, а выигравший пил ее. Конечно, все эти ужасы происходили среди сук, мужики, а тем более вору такого себе не позволяли – они порой медленно умирали, но умирали достойно, как люди. Этот гад доходил до того, что непокорных иногда закидывал в камеру к блядам, бросал плитку чая и отдавал короткую команду: «Изнасиловать!» Сколько достойных и порядочных людей лишились там чести, ну а потом, естественно, и жизни. Обойтись без ломки не удавалось ни одному вору. Но зато после этих прожарок оставались избранные. Вот и порешили вору на общем всесоюзном сходняке, что воровом может считаться только тот, кого признает масса воров, а не тот, кто, как некогда, объявлял себя сам. Среди общих масс эта процедура стала называться коронацией, среди бродяг подход. Да, в то время право войти в семью нужно было заслужить – и это было уделом избранных. Тот, кто хотел войти в семью, должен был постоянно общаться с ворами, так как прежде всего претендент на корону должен был учиться познавать мир в реальности и обучаться всему

воровскому укладу. Почему, что бы у кого-нибудь ни случилось, за помощью обращаются в основном к ворам? Потому что знают, они положили свою жизнь на алтарь Идеи. Правда и справедливость – вот две воровские путеводные звезды. Даже не каждый, кто сидит в тюрьме десяток лет, может это понять. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: воровом нужно родиться, а по ходу жизни учиться, чтобы в дальнейшем смело войти в семью. Но прежде чем войти в нее, ты задолго до схода ставишь воров о своем решении в известность. Затем по твоей просьбе кто-то из именитых воров представляет тебя на сходняке, ну а по ходу сходняка общая масса воров решает, принять тебя в семью или еще повременить. Вот такая долгая, а главное – тщательно продуманная процедура определяет дальнейшую судьбу молодого вора. После того как урка в полноте, он обычно выезжает за пределы того региона, где живет, для общения со своими братьями на других сходнях. Обычно это такие центры, как Москва, Питер, Новосибирск, Ростов, Одесса и прочие большие города, где часто собиралась масса воров. Вообще, вор редко сидел на месте. То его вызывали на сходняк, то надо к братьям в крытую, то в лагерь, то арестанты зовут в тюрьму для разбора какого-либо вопроса. А в остальное время воровали и кайфовали. Но перво-наперво это забота о тех, кто был в неволе. Хочу также заметить, что любые новшества, введенные в каноны преступного мира, утверждались только на воровской сходке. И если эта проблема глобальная, то вору съезжались из всех регионов и даже стран. Государство может устанавливать границы, может разрушать их, вести политику геноцида или демократии, для вора же, равно как и для самой воровской идеи, нет ни границ, ни национальности, ни возраста, ни вероисповеданий. Если он вор, этим все сказано. Будь он хоть на Луне – он вор. Воровские законы никем не писаны, но их чтут порой больше, чем любые другие законы. Пусть не посчитают меня богохульником, но откройте Святое Писание. За исключением заповеди «не укради», все сходится с воровскими канонами. Исходя из того, что любая вера во благо и на благо, вывод оставляю сделать все тем же читателям. Некоторым может показаться, что я призываю людей жить по-воровски, уверяю, это ошибочное суждение. Я так четко обрисовал воровские каноны для того, чтобы молодежь поняла бессмысленность жестокостей, убийств, грабежей и разбоев. Наша жизнь, вероятно, канула в Лету и не вернется. Но, зная, как жили люди, через что они проходили и не ломались, при этом никогда не брали в руки не только какое-либо оружие, но и не допускали к нему никого, – зная это, я думаю, что молодое поколение призадумается и сделает свои выводы. Я на это надеюсь. Нигде в мире нет понятий о воровской Идеи, так же как и о ворах в законе. Эта прерогатива исключительно России. В последнее время все чаще стали отождествлять такие абсолютно разные понятия или, можно сказать, два преступных направления – воров и мафию. Десятки лет тяжелый железный занавес закрывал нам дорогу для общения с другими народами. О жизни на Западе мы могли лишь догадываться, листая случайно попавшие к нам иностранные журналы. Когда же началась перестройка, поток информации, хлынувший с Запада, буквально заполнил рынки разного рода продукцией, в частности кинофильмами о мафии во всех ее ракурсах. Кто не видел кинокартину «Крестный отец»? Думаю, видели все. Хороший фильм, слов нет. Он многое объясняет: начало становления мафии, уголовную жизнь, противостояние кланов, борьбу крестных отцов и прочее. В этой книге читатель может проследить путь становления и упрочения воровской Идеи в России, а также в достаточной степени понять законы, которыми руководствуются вору. Теперь же мне хотелось поговорить о мафии – и, возможно, провести параллели. О том, что мафия пришла в США из Сицилии и первым кланом в США стала коза nostra, знают, пожалуй, все, так же как и то, что само слово «мафия» сицилийское. Со временем оно стало отождествлять все преступное, то есть преступные сообщества и их действия, как в масштабах отдельных регионов, так и в масштабах стран и даже континентов. И в конце концов с поднятием того же занавеса это слово перекочевало к нам в Россию. И хотя в Америке и не было революции в начале прошлого века, но и там, так же как и у нас, воровали, и их граждан также сажали в тюрьму с той лишь разницей, что у них демократия была и есть основной принцип

государственности. Для того чтобы уходить в строгое подполье, создавать кланы со своими строгими канонами, у преступного мира США не было причин. У них была все та же демократия, которая защищала от любых неправомерных действий как министра, так и вора. И мне даже кажется, если бы правительство США в свое время не ввело сухой закон, возможно, и не появились бы гангстерские кланы, то есть все та же мафия. Чем жестче государство проводит в жизнь свои директивы в отношении преступного мира, тем изворотливее и осторожнее становится он. Но в США опять-таки демократия защищала граждан, в том числе и преступивших закон, от произвола мафиози. Тогда как у нас изгоев общества не защищал никто, и меньше всего – закон, так как в стране был террор и полный беспредел на государственном уровне. А в Америке мафия пускала корни во все слои общества, не встречая никаких серьезных препон со стороны властей. Основная цель деятельности мафии – участие в экономике страны, а значит, и присвоение капитала. Путь добычи этого капитала у мафии, как многие видели по фильмам, всегда залит кровью. Спекуляция оружием, наркобизнес, убийства и всякого рода жестокости и насилие. Тогда как неписанный воровской закон гласит: никто не имеет права поднять на человека руку, не имея на то веских оснований. Руку, а не автомат или пистолет.

Ни один вор не позволит замарать себя какими-либо спекулятивными действиями, каких бы барышей они ни сулили. Воровской закон по этому поводу строг и однозначен. Деньги любят безусловно все, деньги нужны всем, и это ясно как белый день. Но у воров же есть общак, по этому поводу даже существует поговорка: «Общак – дело добровольное». Нужны ли комментарии? Что такое общак, я опишу в дальнейшем, сейчас же хочу продолжить свою мысль. Думаю, в некотором роде параллели я провел. Мафия – это любые средства для достижения цели ничем и никакими методами не брезгающих людей, тогда как воровская Идея в нравственном смысле стоит над всем низменным и подлым. Каноны воровской этики для всех едины, для всех закон. У мафии и воров есть и схожие черты. Законы мафии гласят: семья превыше всего. То же самое и у воров. Семья, то есть братья, священна. Почти так же как в мафию, принимают избранных. Вор входит в воровскую семью при том же собрании единомышленников, что и мафия, только на сходке. Вот в принципе общие черты мафии и воровского дела.

Глава 4

Уход за ранеными

Когда переступаешь порог камеры – независимо от того, в первый или сотый раз, – мозг еще не успевает осознать реальную действительность, но какое-то чувство подсказывает тебе царящую в ней атмосферу или настроение ее обитателей. Так вот, атмосфера в камере может быть напряженной и натянутой, что в принципе одно и то же, или, напротив, простой и непринужденной. И твое внутреннее чутье может даже приблизительно угадать дальнейший ход событий.

Здесь, в камере, среди воров мы с первых минут поняли, нет, скорей, почувствовали ту простоту и непринужденность, которые свойственны лишь философам и бродягам, и поэтому и мы были абсолютно спокойны. Как читатель помнит, все мы здорово переболели, а я особенно – чуть богу душу не отдал, поэтому мы были еще очень слабы. Но тем не менее уже через несколько часов мы перевернули камеру вверх дном. Облазили буквально каждый угол, все пощупали, посмотрели. Ничто не могло и не должно было от нас укрыться, ведь нам предстояло здесь жить. Как любящий отец смотрит на детей своих, так же смотрели на нас эти больные и изможденные люди, радуясь за нас, что наконец-то мы можем немного отдохнуть после стольких мытарств и страданий. Это удивительное качество дано, к сожалению, не каждому: радоваться тому, что кому-то хорошо. Эти люди, когда мы познакомились поближе, стали учить нас видеть в людях только хорошее, а плохое само вылезет наружу, если оно есть, искать его порядочному человеку не подобает. Они радовались тому, что кому-то где-то как-то подфар-

тило. Никогда не оставляли человека в беде, независимо от его убеждений, национальности и вероисповедания, конечно если он не был блядью, и всегда готовы были поделиться последним. В камере был строгий арестантский порядок, хотя человеку несведущему понять это было трудно, ну а мы хоть еще и не считали себя бывальными, да и не были ими, но и за дилетантов себя не держали. И мы поняли: мы дома. Каждый, кто мог что-то делать, делал. А это были те, кто встретил нас, то есть те, кто мог хоть как-то передвигаться. Одни стирали бинты и сушили их вдоль верхнего яруса нар, другие ухаживали за ранеными, то есть за теми, кто без посторонней помощи не мог пройти даже до параша, третьи готовили пищу и варили чай, четвертые были на проводе, то есть разговаривали у кабура, или принимали грузы, в общем, каждому было чем заняться. Даже когда открывались двери, не было обычной камерной суеты. Тот, кто мог лучше изъясняться с окружающими, обычно и брал на себя эту миссию – конечно, не без всеобщего одобрения, – остальные занимались своими делами. Даже голос никто ни на кого не повышал, обхождение друг с другом было исключительно деликатным. Сейчас, вспоминая то время, я представляю, что бы было с ворами, если бы не всеобщая братская помощь арестантов. Никто из них не оставался равнодушным к страданиям другого. Почти из всех камер шли пересылки, и каторжане старались поделиться всем, чем Бог послал, но тем не менее почти каждую неделю кто-то из них умирал, и с этим ничего нельзя было поделать. Естественно, мы делали все, что могли, но этого было недостаточно. Необходимо было квалифицированное – где хирургическое, а где терапевтическое – вмешательство, нужны были медикаменты. Но увы, система была направлена на уничтожение этого клана, так что ни о какой медицинской помощи извне не могло быть и речи.

Правда, очень многих спасли женщины, их внимание, участие и любовь к ближнему творили чудеса, честь им за это и хвала. Как читатель помнит, сидели они через стенку. Каких только целебных отваров и настоев они не готовили, – многим они помогли выжить. Они даже умудрялись сшивать белые лоскутки ткани и делали из них бинты. Да разве можно передать на бумаге женское тепло, душевное расположение, ведь малейшая ласка для узника может превратить мрачное небо в лучезарный свод. Долгие годы жизни в лагерных условиях многому их научили, ну а любви и заботе к ближнему женщину учить не надо, это ей дано от Бога. Просить надзирателей, чтобы передали что-либо, не было необходимости, кабур был такой, что голова ребенка смело могла пролезть, вот женщины и передавали нам все, что нужно. Так же как и остальные бродяги, кто мог ходить и что-то делать, мы тоже стали помогать раненым кто чем мог. Время для нас летело незаметно, мы даже порой не знали, какое сегодня число или день недели, – до такой степени были загружены заботами о людях. Я в основном ухаживал за теми, кто не мог ходить, это, видно, у меня было заложено с детства, так как всю свою жизнь, пока не умерла моя мать, я видел перед собой белый халат и до сих пор имею к нему уважение. Может ли нормальное человеческое воображение представить себе такую картину? На нижнем ярусе нар лежат в один ряд искалеченные и изуродованные люди. Слышатся стоны и бред умирающих. Нет обезболивающих, да и вообще нет никаких лекарств. Одному Богу известно, как стойко переносили адовы муки эти люди, ибо просто больными назвать их было нельзя. Проникающие ножевые ранения, гниющие раны, гангрена рук и ног, переломанные носы и ребра, в нескольких местах пробитые головы, выколотые глаза. Порой неделю-другую ухаживаешь за человеком, а он, улыбаясь, говорит тебе: «Спасибо, родной, скоро уже поднимусь, намного легче стало». А на следующий день подходишь, а он уже холодный. Терпел, бедолага, боль, чтобы в меня вселить уверенность в то, что наши труды и заботы не напрасны. Ведь если упокоился один, то, может быть, десять встанут на ноги. Недавно я услышал фразу: «Он видел столько покойников, что уже привык к смерти». Это полная чушь и бахвальство! К смерти привыкнуть нельзя, сколько бы раз ни пришлось ее увидеть. Притупиться чувство, наверное, может, да и то, скорей всего, на войне или при какой-то страшной эпидемии, но привыкнуть – нет. Не заложено от природы это в человеке!

Хоть я и пришел в камеру после болезни, еле держась на ногах, да и пока находился в ней, не только видел смерть и страдания умирающих людей, но и ухаживал за ними со всем вниманием и заботой, на какую только был способен, все же сам я физически окреп. Видно, молодость взяла верх над суровой жизненной реальностью, то же самое относилось и к моим друзьям. Сейчас нас было уже не узнать. Женщины, по-матерински заботясь о нас, справили нам более-менее приличную одежку. К нам вернулся юношеский задор и здоровье, а урки вселили в нас уверенность и дали почувствовать, что мы что-то значим в этом мире. И мы были благодарны Богу на небе и людям на земле.

Так прошло больше трех месяцев, близился Новый год. Много перемен произошло за этот период нашего заточения на свердловской пересылке. Женщин отправили в этап, что для всех нас было огромной потерей. Не берусь даже описывать то, как я прощался со своим ангелом-хранителем в обличье прекрасной каторжанки, в бушлате и калошах, чтобы больше не встретиться с ней никогда. Немало воров развезли также по крытым тюрьмам, многих мы проводили в последний путь. Из тех же, кто остался, почти никто не мог ходить, и вся забота о них лежала на нас. Но за это время привезли много новых уроков из разных лагерей – движение было постоянным, круглые сутки, месяцы, годы, и ничто, казалось, его не сможет остановить, если только не конец света. Нас почти никто из администрации не тревожил, за редким исключением, поэтому мы были уверены, что со дня на день нас вывезут. И надо же, чтобы именно в канун Нового года нас заказали на этап. Как мы ни были подготовлены к предстоящей разлуке, все же это известие привело нас в некоторое замешательство. Что ни говори, а тяжело прощаться с людьми, с которыми в буквальном смысле сроднился душой и сердцем, а кроме того, знали, что почти ни с кем из них в этом мире мы уже не встретимся. Попрощавшись со всеми чисто по-жигански и взяв по своей фартецеле, мы пошли к уже давно открытым дверям, где нас терпеливо ждал конвой. Охранники не говорили ни слова, уважая наши чувства, ведь подлинное горе вызывает сочувствие даже у самых равнодушных людей. И я уверен, что, так же как и у меня, у остальных ребят стоял ком в горле, но о таких вещах у нас не принято распространяться, это привилегия женщин. И опять «Столыпин», и все те же процедуры: перетасовки, шмон, оправка и прочее. Все было то же, только мы были уже не те, что раньше. Почти четыре месяца, проведенные среди этих людей, научили нас очень многому. В том возрасте, в коем мы пребывали, люди всегда чему-нибудь учатся либо по необходимости, либо по принуждению, либо по желанию или, точнее, по велению сердца. Думаю, нетрудно догадаться, к какой категории учеников принадлежали мы. Простившись с нашими старшими братьями, мы навсегда простились не только с ними, но и с детством. Никто из нас, естественно, не знал, что ждет нас впереди, зато каждый усвоил, что без доброты и благородства, чувства долга и чести нам никогда ничего не добиться. Разговаривая с кем-нибудь, мы уже старались не перебивать человека, когда он пытался излить боль и горечь, лежащую у него на сердце, зная, что нужно дать высказаться человеку и тем самым облегчить ему душу. Надо уметь слушать, всегда говорили нам, и особенно в неволе, умение слушать дано не каждому, и этому надо учиться. Теперь, прежде чем потребовать что-либо у начальства, мы не ругались и не кричали на них, не выламывали двери и не били стекла, а старались с видимым спокойствием, на которое только были способны, попросить то, что нам тогда было необходимо. Мы теперь твердо знали, что добиться чего-то в этой системе можно, но только вступая в диалог, а не круша и громя все подряд, объявляя голодовки и перерезая себе вены. Конечно, без крайних мер тоже было не обойтись, но меры эти должны были применяться только в крайних случаях. Мы обязаны быть культурными и вежливыми всегда и везде – это одно из воровских правил, которым необходимо было учиться. Но хотеть и быть – это разные вещи, поэтому мы и учились с энтузиазмом, свойственным одержимым натурам, а в том, что мы одержимы, сомневаться не приходилось. Даже друг с другом мы разговаривали крайне редко, стараясь понять то, что нужно, без слов, одним только взглядом. С посторонними же мы почти вообще не разговаривали, исключая

крайнюю необходимость. В общем, напутствий нам на дорогу было много, и мы старались превращать их в жизнь.

Глава 5 Снова этап

Конвой нам попался неплохой. Как только они управились со всеми своими обязанностями, мы попробовали поинтересоваться как бы между прочим о конечном пункте нашего маршрута, и, к нашему удивлению, сержант просмотрел все четыре дела – и через несколько часов мы уже знали, что едем в Георгиевск. Больше того, после этого он тут же предложил нам водку и одеколон. Я забыл упомянуть, что ехали мы опять отдельно ото всех, это предписание на наших личных делах так и оставалось в силе. Но нам оно уже не особенно мешало, если не сказать наоборот, нам ни с кем не хотелось общаться. Да и вели мы себя не как малолетки, о чем нам в конце пути не преминул сказать начальник конвоя. В то время в «Столыпине» почти всегда можно было достать спиртное. Я уже говорил, что был канун Нового года, и мы решили, что не отметить его было бы грешно, благо деньги и кое-что еще у нас были. Взяли мы пару бутылок водки и встретили Новый, 1964 год в своей компании, полные надежд на лучшее будущее, на что нам намекнул начальник конвоя. Этот год принес много хороших перемен. Да мы и сами знали, что наши сроки кончаются.

Трое из нас должны были освободиться в этом году, только Харитоше оставалось сидеть еще больше года. Чуть больше двух месяцев мы добирались до Ростова. Женька освободился 9 марта, и мы думали, что он прямо из «Столыпина» и освободится. Мы прибыли в Ростов за два дня до его освобождения, но, слава богу, прощание наше было не таким страшным, как в Чите с Серегой. Как бы ни было печально расставаться с близким тебе человеком, но мысль о том, что он покидает эти стены, весь этот дикий, нечеловеческий уклад, созданный кучкой садистов и деспотов, радовала нас. Хоть один из нас уже отмучился, пусть этот один не ты, но это твой друг – и этим все сказано.

В течение двух дней мы находились в карантине, где нас провели через все соответствующие процедуры для определения нашего дальнейшего пребывания в стенах этого острога. В тот же день, когда освободился Женя, вечером нас перевели в общую камеру, администрация, как и следовало ожидать, определила нас в камеру штрафников. Здесь находились малолетние преступники со всего Союза, осужденные на спец. Почти у всех судьба была похожа на нашу, а посему мы тут же нашли общий язык, по-другому и быть не могло. Через стенку сидели урки, и поэтому каждый из наших сокамерников хотел показать, что он сведущ в вопросах морали и этики преступного мира. В общем, это рождало здоровые споры и дискуссии и шло нам всем только на пользу. Как только мы узнали, что через стенку сидят урки, мы, еще даже не успев устроиться, кинулись к кабуру и почти три часа не отходили от него, как будто встретили родных братьев. Ворами все было интересно, буквально каждая мелочь их интересовала. Такое любопытство нас не удивило, это было в порядке вещей, поэтому каждый из нас старался рассказать все, что знал и слышал в воровской камере. Они тоже были собраны из разных лагерей и должны были идти в разные крытые, но в основном в новочеркасскую крытую. Ни днем ни ночью место возле кабура свободным не было. Воры говорили нам: «Пока мы рядом, обращайтесь по любым вопросам, без всяких стеснений, в нашей жизни мелочей нет и быть не может». И мы обращались к ним и учились всему, что нужно было знать молодым уркаганам, благо нам это было весьма интересно. Для начала нам предложили научиться правильно писать малявы – оказалось, что правильно их писать никто из нас не может. Казалось, что может быть проще: сел и написал то, что нужно, но на самом деле это оказалось совсем непросто. Это целая наука – уметь правильно подобрать слог, лаконично, без лишних слов, написать то, о чем думаешь. Пробыв почти четыре месяца в водной камере с ворами, мы, конечно, многому

научились, но вот что касается грамматики и стилистики, то нам некогда было этому учиться и все приходилось схватывать на лету (читатель помнит, какой была обстановка). Здесь же была возможность научиться этому непростому ремеслу. Но прежде чем продолжить свое повествование, мне бы хотелось объяснить читателю, для чего нам нужны были все эти премудрости. Нам хотелось быть избранными в том обществе, в котором мы оказались. Но между хотеть и быть большое расстояние. Половину этого расстояния мы прошли, можно сказать, с честью, нигде не сломавшись. Но этого было мало, нужно было учиться, и учиться многому. Нужно было научиться достойно вести себя в любом обществе, правильно и доходчиво изъясняться, а также грамотно и понятно писать. Вот этому всему и учили нас урки по мере возможности на Ростовском центре.

Иногда одну и ту же маляву приходилось переписывать по десять, а то и больше раз. При этом тот из воров, кому она была адресована, подзывал ее автора к кабуру, указывал на ошибки и объяснял, как их исправить. Давали нам переписывать и размножать прогоны и обращения к арестантам тюрем и лагерей. И это также немало способствовало развитию наших познаний в той области, которая зовется воровской этикой.

Например, при отправке малявы урке его имя подчеркивается один раз, и всем становится ясно, что адресована она именно урке. Если же чье-нибудь имя было подчеркнуто два раза, то арестантов ставили тем самым в курс дела, что обладатель этого имени блядь. Вору познакомили нас также с канонами воровского братства и разного рода нюансами, связанными с воровской жизнью. Любой, например, кто поднял на вора руку, считается по воровским понятиям блядью. Между собой урки могут подраться, это бывает, но к категории, о которой я написал выше, они, конечно, не относятся. А вот если вор убьет вора, то он также считается блядью, так как, если на человеке, кто бы он ни был, кровь вора, то его ждет неминуемая расплата – смерть. При жизни же его все считают блядью, и святой долг любого бродяги при встрече казнить эту мразь. Вор также никогда не будет брать оружие в руки, а если и возьмет, то применит его в самых крайних случаях, в основном для самозащиты. Забегая немного вперед, хочу рассказать читателям об одном случае, он, правда, произошел много позже тех событий, о которых я пишу в этой главе. В то время я жил в Москве и «трудился» в одной бригаде с Пашей Цирулем, Геной Карандашом, Леной Дипломатом и Лялей Цыганочкой. Кроме Ляли, все вышеперечисленные люди были ворами.

Однажды, возвращаясь домой, мы с Карандашом зашли в ресторан на Таганке пропустить по соточке, на ход ноги. Настроение у нас было отменное, правда, не помню, с чем это было связано, но это и неважно. В ресторане сидело много народу, и большинство из них были молодые крадуны, справляющие какое-то торжество. Некоторых я знал, но главным было, конечно, то, что все знали Карандаша. Ему уже было далеко за шестьдесят, он был в авторитете в преступном мире Москвы. А потому для любого круга бродяг присутствие такого авторитетного вора за столом было огромной честью. Но обычно Гена редко когда принимал подобного рода приглашения, а здесь, не знаю почему – наверно, из-за хорошего настроения, – согласился, и через несколько минут мы сидели за столом, где почти все присутствующие были моими ровесниками. За столом шла веселая и непринужденная беседа, все с уважением смотрели на старого уркагана. Сейчас уже не помню, в связи с чем Гена начал рассказывать старую воровскую притчу, но, видно, тому были веские причины, а ведь просто так такие урки, как Гена Карандаш, не разглагольствуют на столь серьезные темы. Тем более то, что он рассказал, мог рассказать только вор, и никто другой не посмел бы по многим соображениям. Вот его рассказ я и хочу преподнести читателю.

В купе поезда СВ Москва-Одесса входит молодой человек, приятной наружности, изысканно одетый и с манерами юного герцога. Это вор, который едет на воровскую сходку в Одессу, куда позвали его братья. Видит – слева от него, в углу у окна, сидит дама бальзаковского возраста, очень милая на вид и с определенными достоинствами. Светло-розовый бати-

стовый халатик и мягкие вельветовые тапочки, которые были на ней, безусловно, располагали к домашнему уюту, а раскрытая книга в руке и серьезность, с какой она глядела в нее, говорили о том, что леди давно уже минула пору юной беззаботности. Молодой человек вежливо поздоровался с дамой и, положив «дипломат», единственный предмет своего багажа, на верхнюю полку, присел напротив. Как известно, почти нигде люди не знакомятся так быстро, как в купе поезда, тем более если путь неблизок. Так что уже через час книга была отложена в сторону – и попутчики завели непринужденный светский разговор, сидя друг против друга и изредка поглядывая в окно. Затем они решили сыграть в шахматы. За приятным занятием и время летит незаметно, тем более в пути. Был уже поздний вечер, когда молодой человек, неожиданно отложив шахматы в сторону, со свойственным в таком возрасте порывом встал и, как истинный джентльмен, пригласил даму в ресторан. Тем самым он как бы хотел продолжить прекрасно начатый день или, скорее, завершить его на мажорном ладу. Мило улыбнувшись в ответ, дама молча приняла приглашение. Через некоторое время они сидели за столиком вагона-ресторана и, услаждая себя приятной прохладой игристого шампанского, возобновили прерванный разговор. Так незаметно пролетело несколько часов, и они последними покинули вагон-ресторан. Днем было жарко, а потому и ночью духота стояла невыносимая, благо хоть работала вентиляция. Почти все окна были открыты, но и это мало что меняло. Нетрудно себе представить: в купе СВ, то есть в купе на двоих, мужчина и женщина, недавно познакомившиеся, оба немного подшофе после приятно проведенного вечера. В общем, спать им не хотелось, и тогда леди предложила поиграть немного в карты. Предложение, естественно, было принято молодым человеком, и опять потекли приятные минуты времяпрепровождения. Но уже через час им стало скучно, и, чтобы поднять в крови немного адреналина, как сказала леди, она предложила играть на деньги. Здесь уже стал явно проследиваться какой-никакой интерес, и скуку сняло как рукой. Да еще, как ни странно, оказалось, что дама очень неплохо разбирается в картах. От «дурака» они перешли к игре в «секу», а эта игра, смею заметить, не для женского ума, ибо требует многих качеств, которыми, не в обиду будет сказано дамам, Всевышний их не наградил. То есть здесь нужны холодный ум, трезвый расчет и железные нервы. Но как бы там ни было, а ближе к утру молодой уркаган «торчал» этой засухаренной багдадке, а в том, что она была багдадкой, уже не было никаких сомнений, все, что имел в наличии, плюс к этому золотые часы, перстень и серебряный портсигар. Тогда босяк предложил условия: продолжить игру, взяв взаймы у этой крали немного денег, ибо игра в «секу» требует постоянных ставок наличными. А по приезде в Одессу, на вокзале, он тут же расплатится, ибо его там будут встречать. Оба ехали в Одессу, молодой человек вел себя как джентльмен, и дама согласилась, но сделала оговорку: когда деньги, данные ею в долг, он проиграет, игра будет окончена. На что урка, естественно, согласился. Уже начала давать о себе знать усталость от бессонной ночи, но игра продолжалась, и рассвет они встретили сидя друг против друга, зажав в руке по три карты и пристально и серьезно глядя в глаза друг другу, не спеша объявлять ставки. Как известно, при игре в «секу» важны не только ловкость рук играющих, но и выдержка, самообладание и терпение. Здесь, наверно, больше, чем в какой бы то ни было другой игре, нужно уметь блефовать. Всеми этими качествами, как ни странно (и читатель уже, видно, догадался), владела лучше дама, а потому к обеду результат не заставил себя ждать. Помня об оговорке, на которой настояла дама перед их странной баталией, партнеры закончили игру. Они заснули, не раздеваясь. Вечером поезд должен был прибыть в Одессу, это был конечный пункт для каждого из них.

Проснувшись вечером от резкого выкрика проводника: «Одесса, Одесса», дама взглянула напротив – на полке лежала смятая и разбросанная постель, но молодого человека, равно как и его «дипломата», не было. Не было картежника и на перроне, когда, сойдя с поезда, багдадка в образе очаровательной леди решила подождать этого незадачливого джентльмена – на всякий случай, мало ли что? Хотя уже давно все стало ясно. Но, убедившись еще раз, что он

исчез, видно, зная, что заплатить нечем, она неторопливо пошла к стоянке такси, пряча снисходительную улыбку в воздушном жабо на груди.

Теперь представим себе: огромная хаза, сидят урки и ждут нескольких недостающих воров, чтобы начать сходняк. Здесь же сидит наша старая знакомая и заканчивает рассказ ворами о том, как по дороге какой-то «шебутной фраерок двинул ей фуфлю». Вдруг дверь открывается – и входит тот, о ком дама только что говорила. «А вот и он сам!» – воскликнула багдадка, казалось бы нисколько не удивившись. Но все же она была, конечно, удивлена, иначе к чему этот рассказ. Но как бы там ни было, пауза при их встрече длинной не была. Естественно, дама потребовала уплатить долг, в противном случае ею была предложена такая непристойность, какую могут придумать только женщины и которую я воздержусь передавать. Денег у него не было, а взять у кого-либо означало автоматически сделать фуфлю. Исполнить требование багдадки он также не мог, ибо это было недопустимо не только для вора, но и для любого уважающего себя мужчины. Вот и поставил вопрос перед нами Карандаш: как же выбрался из этой гнусной ситуации этот уркаган, а он из нее выбрался, и достойно. Ответ может дать, не задумываясь, только тот, кто знает воровские правила. Сказав это, Карандаш замолчал и стал внимательно следить за всеми, снисходительно улыбаясь. И тут начались дебаты. Какие только варианты ответов ни предлагались молодыми крадунами, но Карандаш только улыбался и отрицательно мотал головой. Когда последний из присутствующих ответил, и тоже неправильно, Карандаш дал правильный ответ. Он стал разъяснять нам законы воровского братства и преступного мира в целом. Оказалось, что весь рассказ был всего лишь для отвода глаз. А загвоздка заключалась в том, что человек, знающий воровской уклад, тут же должен был бы спросить: «А как могла оказаться на воровском сходняке женщина?» Вот этот вопрос и был бы правильным ответом, так как никогда и нигде, ни на одном воровском сходняке женщина, будь она жучкой или даже багдадкой, присутствовать не имела права. Закон воровской для всех свят.

Так познавали мы премудрости воровской жизни, хоть и урывками, но все же это были премудрости, которые мы стремились постичь и которые давались нам с большим трудом.

Глава 6

Тюрьма и свобода

Уже около двух месяцев находились мы в тюрьме. Пролетели они совсем незаметно, и мы уже стали тешить себя надеждой, что так и оставят здесь, как нас снова заказали на этап. И вновь расставания, и почему-то всегда чаще они происходят с хорошими людьми. Видно, оттого они всегда так тяжелы, но в нашем положении приходилось свыкаться со многими вещами.

Простившись со всей братвой и выслушав ряд полезных советов и напутствий, мы тронулись в путь. А уже через двое суток оказались в зоне. Хоть время близилось к отбою, мы все же были в напряжении, пока за нами не закрылись двери карантина. Здесь уже можно было перевести дух и осмотреться. Я забыл сказать, что прибыло нас в зону семь человек. Дело в том, что с нами ехали еще четверо ребят, собранных со всего Союза и также осужденных на спец. На протяжении двух или трех дней их вызывали к начальству – это были обычные процедуры в лагере по отношению ко вновь прибывшим. Нас же никто не тревожил, будто нас вообще и не существовало. Но это нам так казалось. Из осужденных мы видели только одного баландера, который приносил нам еду, да и то он был какой-то странный, злой и неразговорчивый. Мы хотели было уже миской по башке его дрюкануть, но вовремя одумались, он оказался глухонемой. Ну язык-то рыбий был нам чуток известен, и через час мы уже знали, что карантин находится рядом со штабом и даже при всем желании сюда, в карантин, никто не смог бы пробраться, кругом была запретка. Мы уже стали догадываться, что нас ожидает в дальней-

шем, и наши предположения исполнились в самое ближайшее время. Через неделю, после того как увели в лагерь наших новых приятелей, к нам пожаловал сам Хозяин. Кроме ключников, которые сменялись каждые сутки, это был первый представитель закона, которого мы видели, да еще такой важный. Сейчас мне трудно вспомнить его лицо, да и видел-то я его в первый и последний раз, но главное было то, что он не был похож на негодяя, скорее, наоборот, и это впечатление подтвердило наше получасовое знакомство. Это был подполковник средних лет, довольно симпатичный. Поздоровавшись с нами, он представился и, что удивительно, присел на лавку и сказал ключнику, чтобы тот прикрыл дверь. Это было что-то новое для нас в поведении легавых, но, без сомнения, давало нам понять: я вас не боюсь, но некоторое уважение имею. Нам не могло не польстить такое обращение, но мы сделали вид, что вроде уже давно привыкли к такому обхождению, и, присев в свою очередь, приготовились слушать этого солонья.

«Знаю, – сказал он, – что для своих годов хапнули вы горюшка немало, читал ваши личные дела. Но я уважаю достойных противников, а потому и пришел к вам сам, сделав для вас исключение, что делаю в очень редких случаях. Да и, откровенно говоря, было интересно на вас взглянуть, ну и, наконец, объяснить вам вашу дальнейшую участь». Сказав все это, он с приличествующим его административному рангу достоинством сделал некоторую паузу, внимательно посмотрел на каждого, как бы проверяя, какое впечатление произвели на нас его слова, а затем продолжил: «Как вы уже, наверно, и сами догадались, зона вас не принимает. Так что вам придется ехать туда, откуда вы прибыли. Но хочу вас сразу успокоить, вы туда не доедете. Каждому из вас остались каких-то месяца два до свободы, по дороге и освободитесь. Да, как я понял, даже если вдруг и доберетесь, то и там вас не примут. Так что, смею вас уверить, в вашем положении это лучший из вариантов». И действительно, все, что он сказал, оказалось правдой и сбылось почти в точности. Я попросил разрешения отправить письмо матери. Он не задумываясь кивнул, даже сказал, что я могу письмо заклеить. Но я не стал искушать судьбу и оставил его незаклеенным. Я описал матери в общих чертах наше положение, намекнул, что при встрече все подробно расскажу, а главное, что я жив и здоров, так же как и мои друзья. Надо сказать, что именно это письмо дошло до дома, хотя я посылал их почти из каждой тюрьмы, каждый месяц, как и было положено по закону, но ни одно из них так и не дошло.

Через три дня, в очередной этапный день, как и сказал Хозяин, нас забрали на этап, и уже через пару суток мы опять были в ростовской тюрьме и в той же камере, откуда нас забрали десять дней назад. Прошло уже не помню сколько дней, и наступило 1 июня, то есть день моего рождения. После обеда меня вызвали – куда не сказали, а я, естественно, и не собирался идти. В то время порядочные люди из среды преступного мира по одному из камеры не выходили, то же самое было и в лагерях. Куда бы ни шел бродяга, он всегда брал с собой достойного себе человека, – кому, как не мне, полагалось знать это.

Даже когда надзиратель пришел второй раз, чтобы сказать мне, что меня ждет мать в комнате свиданий, я ему не поверил. И пока не принесли передачу, где я увидел заявление, написанное рукой моей матери, из камеры я не вышел. Когда же урки узнали, в чем дело, они ругали меня на чем свет стоит. Это не тот случай, когда нужно кому-то что-то показывать или доказывать, сказали мне. Не дай бог, легавые заартачатся и мать уедет ни с чем, вот тогда будешь соображать, в каких случаях что нужно делать, а в каких нельзя. Чего я только тогда не передумал, пока за мной вновь не пришли, тут уж без всяких слов я пошел за разводящим. В то время еще не додумались ставить перегородки, телефоны, стекла, разделяющие вас с родными. Так что, войдя в комнату свиданий, я тут же очутился в объятиях своей матери. Долго она держала меня так, и, что меня удивило и в то же время обрадовало, она не плакала. Могли я знать, что не было и дня, чтобы она не плакала, ожидая, что вот-вот придет известие о моей смерти. В какие только инстанции не обращалась она, разыскивая меня. Как только из какой-либо тюрьмы приходил ответ, тут же следовало: выбыл в неизвестном направлении – и

так по цепочке. Знала она и о поджоге в лагере, и о смерти Сереги, и о многом другом. Разве можно даже представить, что пережила эта женщина, пока не получила моего письма, отправленного из Георгиевска. Почти два года я не виделся с матерью, но этого времени оказалось достаточно, чтобы голова ее побелела, а сама она состарилась лет на десять. Я смотрел на нее и не верил своим глазам. Во что превратило горе эту некогда высокую, гордую и красивую женщину, какой всегда была моя мать. И как мне ни было больно и обидно, но виду я, конечно, старался не подавать. Да матери это и не нужно было, она все читала на моем лице как по открытой книге. Свидание длилось два часа, а когда стали торопить с окончанием, мне показалось, что и двадцати минут не прошло. Но о главном мать всегда говорила в начале свидания, зная, какие порядки в этих заведениях и как они строго соблюдаются. А главное заключалось в том, что, уж не знаю как, но мать уговорила Хозяина тюрьмы не отправлять меня по этапу. На этот момент мне оставалось шесть месяцев, и в принципе он поступил правильно, тем более что нас опять пришлось бы гнать через всю страну, а ведь это тоже было накладно для государства. В общем, обо всем поговорив, насколько это было возможно в нашем положении, я простился с матерью, чтобы уже встретиться с ней на свободе. Через полтора месяца, 20 июля, освобожден Санек. Все, что ему дали на дорогу, потратил, бедолага, на передачу, он знал, Харитошу надо было сопроводить на взросляк как положено. По прошествии многих лет он рассказывал нам, как добирался до Питера без копейки денег, да еще и голодный. Вот так мы остались вдвоем с Харитошей. Нет, рядом было много достойных ребят, но с ними я не прошел того, что мы прошли вместе, а это в жизни играет если не главную, то одну из главных ролей. Но и с Харитошей мне тоже долго не довелось просидеть. За месяц или полтора до моего освобождения его осудили на взрослую колонию, да еще вменили усиленный режим. Но у взрослых между общим и усиленным режимом не было почти никакой разницы, так что я особенно не переживал. Тем более и ему оставалось сидеть несколько месяцев. До своего освобождения я успел получить от него пару маляв (он был в другом корпусе, а чтобы дошла та или другая малява, нужно было какое-то время). Мы обговорили заранее, что, как только он придет в лагерь, тут же напишет мне домой.

И вот наступил день моего освобождения. Накануне вечером мы все обговорили с ворами и взял поручения от них к братьям, которые были на свободе. Простившись со всею братвою чисто по-жигански, я покинул этот мрачный, но в высшей степени мудрый «остров», чтобы по прошествии времени, определенного мне судьбой, вновь посетить этот убогий приют, имя которому тюрьма.

Сейчас трудно вспомнить, что я пережил тогда, очутившись за воротами, ведь в дальнейшем мне столько раз пришлось испытать подобные ощущения, что чувства эти как бы притупились, да и прошло без малого 40 лет. Но одно чувство все же всегда оставалось неизменным – ощущение, что ты вновь родился.

Часть IV

Пути Господни неисповедимы

*Благородство и подлость, отвага и страх —
Все с рожденья заложено в наших телах.
Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже,
Мы такие, какими нас создал Аллах!*

Хайям

Глава 1

Много лет спустя

Теперь я хотел бы объяснить читателю, что подтолкнуло меня написать эту автобиографическую книгу. Эта часть книги будет выглядеть несколько необычной по сравнению с другими. В ней я намеренно отказываюсь от своего привычного стиля и манеры изложения своих воспоминаний. И хотя мой жизненный опыт полон суровых и жестоких испытаний, тем не менее сейчас я впадаю в некий романтизм и даже в пышнословие. Делаю я это сознательно, исходя из того, что описываемые ниже события резко отличаются от этапов моего жизненного пути. К тому же я восточный человек и впитал в себя краски, цвета, запахи, предания, мифы моего родного края. А там розу всегда называют алой, ланиты перламутровыми, небо бирюзовым... Итак, послушаем уже нынешнего Заура...

Судьбе было угодно, чтобы я посетил эту прекрасную страну, имя которой Франция, но уже не в мечтах и грезах, а наяву. Величавый, как айсберг, и белый как снег океанский лайнер «Странствующая принцесса» подошел к пристани и бросил якорь в порту Марселя. Сидя в шезлонге на верхней палубе, я любовался померанцевым закатом, который, как мне кажется, только здесь бывает так ярок и красочен. Средиземноморье издревле считалось одним из райских уголков планеты. «Море нострум – матер ностра» – так ласково называли древние географы Средиземное море, «наше море – наша мать». Ну а Франция, как мне кажется, всегда была одной из жемчужин этого рая. Я всегда любил эту страну. Еще в юности, зачитываясь Дюма и Стендалем, Бальзаком и Гюго, я мечтал побывать в ней, и мое пылкое воображение рисовало мне всевозможные картины и сюжеты. Кроме того, я еще в детстве узнал, что мои близкие родные живут на этой земле. Буквально накануне революции они покинули Россию – родители и младший брат моей бабушки. Но я, к сожалению, не знал, где именно они поселились во Франции. Бабушка пыталась в свое время хоть как-то что-то узнать, но, увы, усилия ее были тщетны. В то время доступ к информации, хоть бы мало-мальски связанной с границей, был за семью печатями, несмотря на то что это были самые близкие ее родственники. Мало того, и эти обстоятельства, да и дворянское происхождение вызывали у властей этих подозрение в неблагонадежности людей, которые имели несчастье потерять родственников и родиться дворянином. И хотя в то время, когда бабушки не стало, меня не было рядом, я все же знал твердо, что приложу максимум усилий, чтобы разыскать кого-нибудь из своих родных. Много лет я «работал» в Москве и, исходя из специфики моей работы, не только прекрасно ориентировался в этом мегаполисе, но и знал много полезных и нужных людей, которые могли мне помочь в той или иной возникшей проблеме, а они всегда возникали, что было естественно при моем образе жизни. Благо, как и во все времена, с помощью денег в этой стране можно было открыть любую дверь. А они у меня водились в то время, и немалые, а значит, можно

было что-то предпринять, как-то действовать – и я не преминул этим воспользоваться. Но я не ожидал, что это будет сопряжено с такими трудностями и таким риском. Все же, несмотря ни на что, я дал пространное объявление и несколько фотографий семьи бабушки, а также свой домашний адрес в один из французских модных в то время журналов – и стал ждать.

По тем временам это было круто. Но здесь я рисковал не как обычно, во имя денег, наслаждений и шампанского, а во имя встречи с родными, доселе мне неизвестными. Ибо в нашей стране мне в будущем не маячило ничего хорошего, кроме тюрем и лагерей, голода и холода. Пройдя долгий тяжкий путь испытаний и лишений, я уже ничего не боялся и ничем особым не рисковал. В общем, я уповал на Бога и ждал. Прошло немало времени, с тех пор как я сделал этот первый шаг, и, честно говоря, я уже начал терять надежду, так как за это время я предпринял еще несколько подобных попыток, но безрезультатно.

Примерно в трехстах километрах от Каира, в Ливийской пустыне, лежит оазис Эль-Харра. Место издревле считалось целебным, особенно для больных туберкулезом. Пожалуй, мало на земле найдется подобных райских уголков. Я встречал людей, одной ногой стоящих в могиле, которые исцелились в этом оазисе. И я приехал сюда лечить свою застарелую чахотку и уже месяц находился на этом курорте.

Оазис отрезан от цивилизации в буквальном смысле этого слова. Заказывать разговор по телефону приходилось заранее либо самому, либо посылать кого-то за определенную плату в ближайший населенный пункт. Все это, естественно, было сделано специально, чтобы не прерывать лечения. Египет – своеобразная и удивительная страна. Много чего довелось увидеть на этой древней земле прекрасного и величественного, но больше всего почему-то запомнились ночи. Египетские ночи – это когда бархатное небо, усеянное звездами, становится похожим на королевскую мантию, и поэтому настоящая жизнь в этой части земного шара начинается ночью. В одну из таких ночей звездочета, как их называют местные бедуины, меня вызвали на переговорный пункт, который находился в ближайшем населенном пункте.

Куда бы я ни направлялся, когда был на свободе, я всегда ставил в известность свою старшую дочь обо всех моих передвижениях. И только ей одной я полностью доверяю, хотя другим женщинам я уже давно не верю, у меня на то есть свои причины. Ничего хорошего от этого разговора я не ждал, поэтому особенно не спешил, стараясь сохранять спокойствие духа. Я уже был не в том возрасте, когда эмоциональные стрессы проходят бесследно. И хотя меня уже давно было трудно чем-то удивить, но то, что я услышал от дочери, вызвало у меня такую радость, какой я давно не испытывал.

Нашелся брат моей бабушки. Как говорилось в телеграмме, которую прочла мне дочь по телефону, мне нужно явиться в консульство Франции в Москве, где мне выдадут гостевую визу и еще кое-какие бумаги.

Да, воистину пути твои, Господи, неисповедимы, подумалось мне, и я стал готовиться в дорогу. Сборы были недолгими и не составили труда, в этом у меня был огромный жизненный опыт бродяги. Заказав билет на следующий день, я простился с друзьями и выехал в Каир, у меня там были кое-какие дела, а на завтра «Боинг-747» уже рассекал заоблачные высоты двух частей света и, покрыв расстояние почти в четыре с половиной тысячи километров, доставил меня в Москву. И уже в полночь я спускался по трапу самолета в Шереметьеве-2, мысленно благодаря человечество за прогресс и сервис. Ну а с утра я уже был в консульстве Франции. Консул встретил меня очень дружелюбно, хотя я успел заметить хитринку в его глазах, из чего сделал вывод, что он знает, с кем имеет дело. Тем не менее с присущим тактом чиновника такого ранга он вежливо поинтересовался: как я долетел? Как настроение и прочее? При этом он заметил, что нечасто сталкивался с людьми, которые нашли своих родственников, да еще в такой стране, как Франция. По тому, как быстро я был принят, да еще лично консулом, хотя, повторюсь, он знал, кто сидит перед ним, по тому, как в спешном порядке готовились мои документы, я понял, что дед мой отнюдь не простой французский обыватель. Как выяснилось,

дед мой тоже долгие годы разыскивал свою старшую сестру. Родителей уже давно не стало, жил он с дочерью и внучкой. В своей стране, Франции, он был весьма уважаем, а кроме того, он был весьма состоятельным человеком. Во время войны дед участвовал в Сопротивлении и был отмечен многими наградами, да и в мирное время, думаю, немало пользы принес своему новому отечеству. Дед был по профессии археолог, в свое время он окончил исторический факультет Сорбонны. В то время, когда мое объявление с фотографиями появилось в журнале, дед находился в Аргентине, в Ла-Плата, на берегу одноименного залива, в двадцати километрах от Буэнос-Айреса, у постели тяжелобольной дочери. Она умерла от рака горла, и он с внучкой вернулся во Францию. Прибыв в Бордо, в свое старинное имение на берегу Бискайского залива, он привез с собой внуку и память в сердце о любимой дочери. Здесь его встретили старый слуга с женой и дочерью, которые составляли весь штат прислуги, одновременно выполняя обязанности садовника, кухарки, а дочь – горничной. Жили как одна семья, но при этом каждый знал свое место.

И вот через месяц после приезда домой дед по давней привычке просматривал старые журналы и вдруг увидел фотографии и мое объявление. А когда взглянул на дату, то его чуть не хватил удар. Точно такие фотографии, да и масса других, хранились у него в семейном альбоме. К сожалению, внучке показать он их не мог – по причине, которую читатель узнает чуть позже, но зато радовались они вместе неожиданно найденному внуку и брату. В спешном порядке дед предпринял все необходимое, чтобы я мог приехать во Францию. К тому же обстоятельства благоприятствовали этому, так как я был на свободе.

Путь на теплоходе до Марселя я даже не берусь описывать подробно, слишком много это займет времени, отмечу лишь главные свои впечатления. В Стамбуле я был поражен величием и красотой Голубой мечети (собором Святой Софии) и мечетью Солтан-Мехмет, в Афинах же непередаваемое зрелище развалин Акрополя буквально заморозило меня, а в Неаполе, где была последняя остановка перед Марселем, я был потрясен не только красотой самого города, но и видом Неаполитанского залива. При выходе из Дарданелл нас застиг невероятной силы шторм, и мне показалось, что это конец, но, глядя на спокойные лица моряков, я понял, а точнее, устыдился собственных мыслей, ибо это был обычный шторм, случающийся в этих широтах очень часто. В Марселе я еще долго смотрел с палубы на городской порт. Уже давно был подан трап, и я чуть ли не последним из пассажиров спустился по нему на землю, держа в руке кейс. Я старался держаться уверенно, чтобы не отличаться от других пассажиров. В телеграмме, посланной мной из Москвы, я указал приблизительный день прибытия во Францию, и у меня было два-три дня в запасе, чтобы подготовиться к встрече с родными. Марсель – один из старинных городов в Европе, здесь есть на что посмотреть и где провести время, чтобы адаптироваться в чужой стране. Да и сами обстоятельства способствовали романтическому настроению, и я решил совместить приятное с полезным. Мне повезло, я снял номер с видом на море и решил, что это хорошее предзнаменование, – и не ошибся. В первую очередь мне нужно было обрести душевное равновесие. Многие годы, проведенные в невыносимых условиях, закалили мой характер, при любых обстоятельствах я старался держать себя в руках, чтобы хотя бы выглядеть уравновешенным. Но в этот раз душевное напряжение было столь сильным, что я долго не мог собраться с мыслями и контролировать свои поступки. Впоследствии я проанализировал все, что со мной происходило в то время, и пришел к выводу, что это нормально.

Ненормально было бы отсутствие каких-либо эмоций у человека, который после длительного пребывания в неволе и пробыв меньше месяца на свободе успевает похоронить семилетнюю больную дочь – и снова попадает в тюрьму за грехи многолетней давности.

Затем через несколько месяцев не без помощи жены и друзей его, больного и изможденного, освобождают из зала суда. И вдруг такой неожиданный, резкий поворот судьбы. Тут было от чего потерять голову.

Но замечу, что через пару дней я успокоился и пришел в свое обычное расположение духа. И все же горечь воспоминаний о пережитом тяжким камнем лежала у меня на душе. Поэтому я решил отвлечься и пару дней побродить по Марселю. За эти дни я исходил и изъездил почти весь Марсель, взяв себе в проводники Дюма-старшего и его Эдмона Дантеса. И в который раз за свою жизнь я благодарил великого француза за его литературный талант.

Итак, путь мой лежал в Бордо, на берег Бискайского залива, я выбрал маршрут через Тулузу, чтобы взглянуть на этот прекрасный город. Взяв билет до Бордо, я отбыл из Марселя в хорошем расположении духа, ведь впереди была приятная неизвестность. И, уже засыпая под мерный стук колес, я все же пытался что-то проанализировать, но сон сморил меня. К моему большому сожалению, Тулузу я проспал, билет мой был до Бордо, и проводник не стал меня будить, я же его заранее не предупредил. Когда я проснулся, поезд уже мчался по земле, некогда называвшейся герцогство Аквитанское, впереди был город Бордо. Приехал я ночью, меня, естественно, никто не встречал, поэтому взял такси и, дав водителю адрес, стал смотреть в окно. Даже ночью в этом городе было на что посмотреть. Едва лишь первые проблески опалового рассвета рассеяли темноту, как мы уже выехали на окраину города. По крайней мере, мне так показалось, ибо строения кончились и то здесь, то там стали вырисовываться в утренней дымке силуэты красивых особняков. Но то, что я увидел прямо перед собой, когда машина остановилась, было ни на что не похоже, что я видел ранее. Передо мной возвышался замок! Трудно описать необыкновенную красоту этого шедевра средневекового зодчества рыцарских времен. Замок на вершине холма царил над всей равниной, поросшей розовым вереском, а вокруг зеленели густые леса.

С восточной и западной стороны замок окружал большой парк со столетними вязами. От одной до другой башни шли мостики, похоже, что замок был сооружен во времена Крестовых походов. Впоследствии я узнал, что построен он где-то между X-XII веками. Достоверно было известно, что в XII веке замок принадлежал одному из влиятельнейших и могущественнейших феодалов Франции – Вильяму VIII де Пуатье, герцогу Аквитанскому, дочерью которого была прекрасная Алиехнора, впоследствии мать великого короля Англии Ричарда Львиное Сердце.

Вероятно, я бы еще долго любовался этим прекрасным зрелищем, если бы не вежливый оклик человека, неизвестно когда успевшего подойти. «Не вы ли мсье Зауэр?» – спросил он на очень плохом русском языке. Я утвердительно кивнул, тут же поняв, что этот старик – старый слуга моего деда.

Приятно улыбнувшись, он взял у меня из рук «дипломат» и сказал, что меня давно ждут, затем вежливо пригласил следовать за ним. Прямо напротив замка, только чуть ниже, примерно на расстоянии трехсот метров, стояло внушительное, массивное строение французской архитектуры XVI века, его величественная красота поразила меня. Со всех сторон его окружал густой лес. К усадьбе вела относительно широкая дорожка, покрытая галькой и мелкими ракушками, что говорило о близости моря. По краям дорожки с обеих ее сторон и до самой ограды, обрамленной густым кустарником, росли цветы – розы и гвоздики. Великолепные газоны и тенистые аллеи дополняли этот пейзаж. Я невольно подумал, что для поэта или артиста лучшего места для вдохновения трудно было бы найти. Фасад этого двухэтажного особняка дополняла широкая лестница, по краям которой стояли львы. У входа в здание четыре колонны подпирали огромный балкон второго этажа. Высокие окна первого этажа были настежь открыты, легкий ветерок колыхал желтые с переливом занавеси. Жерар, немногословный и гордый, как все старые, преданные слуги, знающие себе цену, пригласил меня подняться на второй этаж и показал мне мою комнату. Я был приятно удивлен, ибо интерьер соответствовал моему вкусу. Жерар стал медленно спускаться по лестнице, а я подумал, глядя ему вслед, что он простой и добрый старик, а его немногословность и важность – это просто неотъемлемые атрибуты слуги аристократического дома во Франции. Тем более что в доме этом жил незаурядный человек. В этом я смог убедиться буквально через несколько часов.

Никогда еще я так долго и тщательно не приводил себя в порядок, так как был взволнован предстоящей встречей.

Глава 2 Чудо-встреча

Через некоторое время Жерар пригласил меня в гостиную. Это был огромный зал с голубыми стенами, посередине стоял большой стол из палисандрового дерева. Справа от себя я увидел часы, стоящие на камине, где двое пастушков любезничали между собой. Два толстощеких амура поддерживали канделябры в виде лилий. Все пять окон были открыты настежь, отчего в комнате стояла приятная утренняя прохлада, из сада доносился запах роз и жасмина.

Возле камина, в вольтеровском кресле из красного дерева с резными ножками, сидел мой дед. А рядом с ним за очень красивым мозаичным столиком работы флорентийских мастеров, на стуле, обитом голубым штофом, похожем на трон, сидела моя кузина. Я знал, что дед был моложе бабушки на семнадцать лет, – значит, ему было без малого девяносто лет. При виде меня он попытался встать, и это ему не без усилий удалось. «С приездом, родной», – сказал он на чистом русском языке, без какого-либо акцента. Мы крепко пожали друг другу руки и обнялись, затем я помог ему сесть. Я галантно поздоровался с кузиной (ибо понял, что это она) по-французски, на что Луиза, так звали мою сестру, на хорошем русском, правда с большим акцентом, ответила: «Не стоит себя так утруждать, Заур, я свободно изъясняюсь на языке своих предков, и у вас еще будет время в этом убедиться».

Но прежде чем продолжить свой рассказ о нашей встрече, следует остановиться на описании моих родных. Первое, что сразу бросалось в глаза, это их аристократизм. То, что они были истинными аристократами, ощущалось буквально во всем. Дед мой был очень похож на бабушку, и одно это уже вызывало во мне симпатию к нему. У него были вдумчивые карие глаза и широкий лоб, прочерченный глубокими бороздками морщин, что говорило о его уме и энергичности натуры. Волосы были совершенно седые, а правильный пробор оттенял их и придавал им чуть серебристый оттенок. Даже видя его сидящим в кресле, нетрудно было представить его гордую осанку. И действительно, он оказался высоким, таким же стройным, как и его старшая сестра, то есть моя покойная бабушка.

Что же касается кузины, то, на мой взгляд, она была просто красавицей. Луиза была женщиной бальзаковского возраста, чуть выше среднего роста, с белокурыми волосами, нежными локонами ниспадающими на плечи, с голубыми, как небо, глазами, с нежным ртом и звучным, но проникновенным голосом. Ее простое белое платье, стянутое в талии золотым шнуром, походило на греческую тунику и очень шло ей. Словом, она была необыкновенно хороша собой, эта моя кузина.

Трудно передать мои ощущения счастья от общения с этими людьми. Наши беседы были столь непринужденными, как будто всю жизнь мы жили вместе и никогда не расставались. На свет божий из семейного архива были извлечены все альбомы, портреты, несколько газетных вырезок – в общем, все, касающееся нашего рода. С каким наслаждением я слушал их рассказы, с каким вниманием разглядывал семейные фотографии! Я был как дервиш, изнывающий от жажды в пустыне – и вдруг нашедший оазис. Нам несколько раз подавали чай, время летело так незаметно, что, когда пригласили к столу, мы даже удивились. Я встал и предложил руку Луизе. Поднявшись, она сделала несколько неверных движений, и я с ужасом догадался, что моя кузина слепа. Нет слов, как я был потрясен этим открытием, каких невероятных трудов стоило собрать свою волю в кулак, чтобы они не заметили, как я расстроился. С галантностью настоящего джентльмена я повел Луизу к столу. Поймав благодарный взгляд деда, я понял, что сделал все правильно. Луиза тоже была явно признательна и благодарна мне за это и одарила меня очаровательной улыбкой. После обеда дед по привычке пошел отдохнуть, а мы

с Луизой решили прогуляться на свежем воздухе. Я удивился, как моя кузина прекрасно ориентируется и в доме и в саду, что даже на какое-то время забыл о ее слепоте. «Ничего в этом нет удивительного, – сказала мне Луиза. – Я ведь родилась и выросла в этом доме». Заметив, что Луиза немного утомилась, я пригласил ее отдохнуть, мы присели на скамью в беседке, под сенью вековых деревьев, здесь же и поведала мне Луиза свою историю. Родилась она здесь, в Бордо, в этом доме. Отец, маркиз де ла Круа, имел свое судно и был капитаном на нем, то есть чуть ли не с рождения был моряком. А потому часто по полгода, а то и больше, не бывал дома. Мать Луизы очень любила его и скучала, когда он был в плавании. Вот и к рождению своей дочери маркиз опоздал, так как у берегов Азорских островов, по дороге домой, судно попало в сильный шторм и чуть не затонуло. Узнав об этом, священник местного прихода сказал, что это плохой знак. У маркиза было свое родовое имение, но оно почти круглый год пустовало, а когда он оставался дома, в те редкие месяцы, они всей семьей уезжали в Ажен. Луиза очень любила отца, даже, как мне показалось, боготворила его. Поэтому не приходится удивляться тому, что, когда его не стало, она слегла на долгое время.

Его судно погибло, и только чудом трое из экипажа спаслись, они-то и рассказали о крушении корабля. Врачи не могли утешить бедную мать – дочь ее таяла прямо на глазах, а они ничего не могли поделать. И как ни горевала Ольга Александровна (так звали мать Луизы) по безвременной кончине своего мужа, которого очень любила, она все же, отодвинув это горе на второй план, целиком и полностью отдала себя уходу за дочерью. И как часто случается, материнская любовь и ласка могут вылечить дитя, даже когда врачи считают, что надежды нет. Видно, Богу угодно было наделить женщину-мать такими чудодейственными качествами. Луиза поправилась, но ослепла. Каким только врачам ни показывали ее, куда только ни возили, все усилия были тщетны. В Аргентине жила сестра маркиза, уже почти год она уговаривала мать Луизы перебраться к ней хотя бы на время. Она убеждала ее в том, что перемена обстановки и климата пойдет на пользу как матери, так и дочери и, кто знает, может, Бог даст и к Луизе вернется зрение.

Наконец они сдались на ее уговоры и, простившись с отцом и дедом, мать и дочь уехали из Франции. Возможно, эта перемена и дала немало. Они прожили в Аргентине больше десяти лет, но после смерти матери Луизу уже ничто не могло там удерживать, и она попросила деда забрать ее домой, во Францию. В замке и практически везде с ней была дочь старого слуги графа, Полина. Они были почти одного возраста, знали друг друга с детства, росли когда-то вместе, а потому скорей были как подруги.

Добрую и отзывчивую Луизу любили в доме все без исключения, ведь она никогда и ни перед кем из домочадцев не показывала своего превосходства над ними. Полина очень ее любила и была предана ей как только может быть предана родная сестра или настоящий друг. Полина всегда была где-то рядом с Луизой, чтобы в случае чего прийти ей на помощь. Когда же нас пригласили к обеду, она немного замешкалась, вот тут я пришел на помощь Луизе, взял ее под руку и повел в столовую. Моя галантность и находчивость была воспринята по заслугам, как признак хорошего воспитания.

Окончив свое повествование, Луиза сняла с шеи изящную цепочку-паутинку, на ней висел медальон с красивым коралловым фермуаром. Открыв его, она показала мне маленькое фото своего отца, а на другой стороне было фото ее матери. Мать подарила ей этот медальон, когда там была только фотография ее отца, и лишь после смерти дочери дед попросил ювелира вправить с обратной стороны фотопортрет Ольги Александровны. К великому сожалению, ни медальон, ни изображенных на нем родителей Луиза не видела. Но они, по всей видимости, всегда согревали ей душу, ибо были у нее на груди. Мы сидели с Луизой в беседке, окруженной густой зеленью, яркая синева неба со всполохами розового заката сменилась фиолетовыми сумерками. Некоторое время сидели молча, каждый думал о своем. Я знал по своему жизненному опыту, а он, смею заметить, был немалым, что великую радость, равно как и

печаль, тяжело переносить в одиночестве. Я всем сердцем проникся любовью и уважением к своей кузине и при этом поклялся в душе, что буду за нее молиться и сделаю все возможное для восстановления ее зрения. Богу было угодно – и моя молитва помогла (об этом читатель узнает позже). Бывают состояния, которые ни разум, ни сердце не объяснят никогда, но которые, однако, влияют на события с удивительной, почти чудесной быстротой. Мы так привязались друг к другу за эти часы, как будто выросли вместе в одном доме и ничто никогда нас не разделяло. Не было ни одной мало-мальски заслуживающей внимания ситуации, чтобы мы не исследовали ее. Французы вообще по природе веселые, добрые и отзывчивые люди, правда, несколько легкомысленные. Здесь, в провинции, эта их черта особенно ощущалась.

Мы много раз были в древнем замке герцога Аквитанского. И побывали в родовом поместье Луизы в Ажене на берегу реки Гаронны. Хотя Луиза и бывала здесь не так уж часто, дом и сад содержались в идеальном порядке, который соответствовал духу и вкусу хозяйки. Однажды Луиза повезла меня на остров Нуамутье в монастырь бенедиктинцев, он находился в трехстах километрах к югу от Бордо, в Бискайском заливе. Этот монастырь был основан в VII веке, и сюда со всего света съезжались паломники. Когда отец Луизы был еще жив, он несколько раз, когда она была маленькой девочкой, возил ее сюда. Красота и величественность этого монастыря покорили ее юное романтическое сердце, и она по прошествии многих лет решила показать мне его. Мы были несколько раз в Париже, Марселе, Тулузе. Но я заметил, что ее больше привлекала провинция, и я, естественно, не противился, поскольку и сам был по природе мечтателем и романтиком и всегда восхищался древней архитектурой и легендами давно минувших дней. Луиза была истинная леди. Получив прекрасное образование, она свободно изъяснялась на трех языках: французском, испанском и русском. Она хорошо знала историю европейских стран и неплохо разбиралась в археологии и астрономии. Но выше всего, будучи аристократкой по крови, она ставила этикет. Как-то в шутку я сказал, что ей бы вполне подошла роль фрейлины при дворе Людовика XIV, поскольку, пожалуй, не было такого короля во Франции, который бы так ценил этикет, как Луи XIV. Он заставлял своих подданных неукоснительно следовать этикету, а сам при этом, естественно, подавал пример. Иногда я становился учеником Луизы. Хоть в детстве я получил от своей бабушки неплохие уроки хорошего поведения, но в путешествиях с Луизой я совершенствовал свои познания. Она была незаурядной женщиной, обладала необыкновенной красотой и тонким умом. Кузина усердно учила меня тяжелым оборотам французской речи, а мне так хотелось как-нибудь заговорить с ней на чисто французском, но пока приходилось довольствоваться русским, благо она действительно владела им в совершенстве. Здесь, правда, мы менялись ролями. Я делился с ней своими познаниями в русской литературе, в чем в свое время изрядно преуспел. Я наизусть цитировал ей «Мцыри» и «Евгения Онегина», рассказывал о декабристах, о доме Романовых, о том, как произошла революция и какие пагубные последствия она повлекла за собой. Я рассказывал ей о нашей бабушке, иногда Луиза заставляла меня кое-что повторить, в ее сознании кое-какие моменты и обстоятельства никак не могли уместиться, а иногда она была просто шокирована тем, что я ей рассказывал. Не надо забывать, что я был глазами Луизы. И то, что я видел и чувствовал, я старался пересказать ей отчасти фантазируя, но не жалея слов и жара души. Я даже порой закрывал глаза, чтобы лучше представить себе ее внутренний мир, и мог говорить часами – о том, что ей нравилось, о том, что чисто, светло и прекрасно, о том, что благородно. Мы оба знали, что не все мною сказанное могло стать реальностью, но каждый из нас хотел в это верить. Луиза как-то сказала мне: «Я хоть и не вижу ничего, но чувствую, что дед наш лет на тридцать помолодел». И действительно, его уже часто можно было видеть прогуливающимся по утрам по тенистым аллеям парка, чего уже много лет он не делал. Жерар не мог налюбоваться на своего хозяина и часто повторял нам, что уже давно не видел графа таким бодрым и подтянутым. Если желания людей сбываются сверх ожидания, счастье в один прекрасный день благословляет их душу.

Часто по вечерам, сидя в гостиной, дед рассказывал нам истории из своего далекого прошлого, показывая всевозможные предметы и реликвии, которых у него было невероятное множество. Перебирая старинные письма и фотографии, он постоянно что-то объяснял Луизе, которая задавала ему бесконечное количество вопросов. Я как-то не удержался и спросил у Луизы, когда мы были одни: неужели она никогда не задавала прежде ему подобные вопросы. Мило улыбнувшись, она с хитринкой в голосе ответила: «Конечно, Заур, я знаю буквально все, что касается нашего рода, мало того – что касается наших обоих родов. Я даже некоторое время специально изучала для этого геральдику Франции, но обратил ли ты внимание, как, с каким жаром, с каким наслаждением дед рассказывает обо всем этом. Я по голосу его чувствую, что это ему очень приятно». Для меня это был хороший урок, я сразу оценил его и стал более внимательным слушателем. Однажды в один из таких замечательных летних вечеров, когда мы с Луизой, как обычно, удобно устроившись в беседке напротив деда, слушали его воспоминания, мне вдруг стало не по себе. Я подумал: имею ли я право, я, человек, который почти полжизни провел в тюрьмах и лагерях, скрывать от них свое прошлое и с невозмутимым спокойствием разглядывать альбомы с фотографиями своих предков. И я решил рассказать им обо всем и вынести на их суд всю свою жизнь, все, через что я прошел и что выстрадал. И вот это мое повествование главным образом и легло в основу настоящей книги.

Самое удивительное было то, что и дед, и Луиза, еще не видя меня в глаза, знали, кто я и что собой представляю. Но, будучи прекрасно воспитанными людьми, они ничем не выдали себя. Слава богу, что я выдержал этот экзамен, и этой премудростью я обязан своей покойной бабушке...

Часть V

Оля-любовь моя

Эзон повстречался на улице с судьей. Тот спросил: «Куда ты идешь?» – «Не знаю», – отвечал баснописец. «Вот как! В таком случае ты идешь в тюрьму». – «Вот видите, – заметил Эзон, – значит, я и в самом деле не знал, куда иду».

Глава 1

Наконец я дома

Медленно, с резким дерганьем вагонов и стуком буферов, визгливо скрипя тормозными колодками, поезд Ростов-Баку подходил к Махачкалинскому вокзалу. Был поздний вечер. Я даже до сих пор помню точное время прибытия этого поезда, потому что и впоследствии мне частенько приходилось его ожидать. Тогда я хорошо знал расписание всех прибывающих поездов, как должен был бы знать таблицу умножения прилежный ученик начальных классов.

Я уже давно стоял в тамбуре, курил и смотрел в окно на огни, которые при приближении к городу все чаще мелькали подобно ярким звездам, которые, блеснув на мгновение, вновь окутывались мглой. И виденное в реальности я сопоставлял с игрой моего воображения и находил в этом свое, одному мне ведомое удовольствие, радость быть свободным. Даже мать не тревожила меня, зная, что я рядом и никуда не денусь, ей одной, видно, только и дано было понять мои чувства. А разве есть на свете человек, которому дано более, чем матери, знать душу своего ребенка, почувствовать и предопределить его желания и порывы сердца. С того самого момента как я вышел из ворот тюрьмы и очутился в материнских объятиях, я постоянно чувствовал такую заботу и такое внимание, какие могут исходить только от матери. О дне нашего приезда не знал никто, хотя отец помнил день моего освобождения. Он знал также и то, что у меня будут поручения из тюрьмы на свободу, а исполнение их – святая обязанность порядочного человека. А вот какое время у меня займет выполнение этих поручений, он не знал, но был спокоен, ведь со мной была мать. Мама не стала давать телеграмму, так как время, которое мы должны были провести в пути, было меньше суток, а как часто бывало в то время, люди давали телеграмму и, уже приехав на место, получали эту самую телеграмму через несколько дней. Так что нас никто не встречал, багажа у нас не было, если не считать симпатичного мамино ридикюля и дорожной сумки, этого неизменного атрибута пассажиров отечественной железной дороги. Вот так, налегке, мы приехали, взяли на привокзальной площади такси и уже через десять минут были дома.

Несколько дней я не выходил на улицу. Днем приходили люди, поздравляли меня и моих родителей с освобождением (а в то время было принято поздравлять с этим событием), а вечером я был целиком во власти матери и бабушки, и, пока я не удовлетворил их любопытство относительно моей одиссеи, многое, естественно, в ней опустив, они меня от себя не отпустили.

Мне кажется, мало найдется сейчас людей, которые любили бы свой город так, как люблю его я. У каждого столичного города есть своя история, своя летопись, которая выражает его сущность и своеобразие. И хотя, на взгляд нынешнего обывателя, трудно представить себе Махачкалу того времени столицей, все же это была столица. А вот границы ее были действительно невелики, если не сказать – крохотны. На юге города был рынок, на севере – русское кладбище, на востоке и западе – море и горы, как и сейчас. На манер столичных европейских городов Махачкала тоже имела излюбленные места прогулок и отдыха, забав и развлечений. Летом, когда солнце заходило где-то вдали, за величественной цепью гор, и сумерки медленно

окутывали город, когда уже не было видно ни блеска, ни серебряного перелива волн седого Каспия, ни монолита не менее величественной, чем Главный Кавказский хребет, горы Тарки-Тау, когда взошедшая луна заливала улицы белым, холодным сиянием, зажигались огни моей родной Махачкалы. И почти весь город выходил к морю, спасаясь от вечерней духоты. Эта благодать, посланная Всевышним, и сейчас радует и убажает горожан. В наше время, когда люди живут на одной лестничной площадке и не знают друг друга или чураются соседей по каким-то причинам, трудно, конечно, понять ту душевную простоту и непринужденность, стремление к общению и знакомству людей того поколения. Вся Буйнакская улица была буквально заполнена народом. В ту и другую сторону медленно и чинно, не подавая повода для злословия, прохаживались влюбленные пары. С гордостью и достоинством, приличествующими горянке, идя под руку со своим мужем, не менее важным и гордым своей половиной, а другой держа за руку свое маленькое чадо, прогуливались дамы с мужьями. Достаточно было увидеть человека несколько раз, чтобы при очередной встрече поздороваться с ним как со старым знакомым и даже поинтересоваться его настроением и здоровьем, – и это ни в коей мере не считалось фамильярностью, напротив, было признаком хорошего тона. До глубокой ночи слышны были музыка и веселье, доносившиеся с танцевальной площадки, которая находилась на Приморском бульваре – там, где сейчас памятник Гамзату Цадасе. Освещение города, конечно, оставляло желать лучшего, но на бульваре было светло как днем. Что замечательно, так это что и милиции почти не было видно, да она и не нужна была, по большому счету. Редко происходили какие-либо нарушения, в основном, конечно, это были драки. Но как только начиналась драка, дерущихся разнимали и напоминали о том, где они могут оказаться, если не прекратят свое занятие. Ну а что касается моря, то как днем, так и ночью здесь загорали, купались или сидели на скалах влюбленные пары, глядя на волны, которые, мерно вздымаясь, отливали то изумрудом, то всеми цветами и оттенками опала, а на горизонте мерцали огни идущего в порт корабля. Днем помимо моря от летнего зноя и духоты люди спасались в Вейнерском саду. До революции сад принадлежал баварцу Вейнеру. В глухой и темной провинции, коей считалась Махачкала конца XIX века, он приобрел некоторую недвижимость, которая, надо отдать ему должное, способствовала развитию культуры и просвещения в городе, – это были сад и пивоваренный завод на его территории. С установлением советской власти всю недвижимость Вейнера конфисковали, а самого его расстреляли как врага народа. На территории этого великолепного сада находился питомник, а на границе с этим морем зелени и благоухания стоял пивоваренный завод. Мало кто знает из махачкалинцев, что со дня его пуска, а было это в конце XIX века, завод целое столетие выпускал настоящее баварское пиво.

Вейнера расстреляли, но у него оставались жена и дочь. Обе эти женщины ничем, кроме благотворительности, не занимались и никакой собственностью не владели. Видимо, поэтому власть оставила их в покое. Когда же после своих кровавых дел большевики решили попотчевать себя пивом, оказалось, что оно совсем не то, какое варили при Вейнере. Вот тогда и вспомнили о жене и дочери человека, которого они без всяких на то причин лишили жизни. Но обе женщины наотрез отказались выдать секрет изготовления пива. Искушенные в подобного рода нюансах коммунисты поняли, что силой и угрозой здесь ничего не добьешься, и пригласили их на работу. Таким образом, каждый день утром эти две женщины приходили на завод, составляли нужную пропорцию компонентов для изготовления пива и уходили, чтобы прийти на следующее утро.

Когда жена и дочь Вейнера умерли, они унесли с собой в могилу и рецепт изготовления баварского пива, которым так славилась Махачкала.

Огромная территория Вейнерского сада могла бы вместить всех горожан, желающих отдохнуть в его чудных аллеях, в тени и прохладе его вековых деревьев. Трава здесь была по пояс. За исключением некоторых детских конструкций, на территории сада не было никаких сооружений, и весь сад был вотчиной отдыхающих. В основном сюда приходили семьями.

Брали с собой еду на целый день и располагались на траве под сенью какого-нибудь тенистого дерева. Ну и детворе тоже было где разгуляться, это был их земной рай.

Много лет тому назад я смотрел по телевизору юбилейный вечер Юрия Никулина, трансляция шла из цирка на Цветном бульваре, а вспомнил я об этом вот почему. Оказывается, как рассказывал Юрий Владимирович, во время войны цирк был эвакуирован в Махачкалу. Голодные и измученные артисты прибыли в город, а лучшего места для отдыха после всех дорожных перипетий, чем Вейнерский сад, трудно было найти. Поэтому им и посоветовали отдохнуть в саду, пока не решат, куда их поселить. Так вот, еле держась на ногах, уставшие люди стали искать место для отдыха, как вдруг подошли несколько человек и пригласили разделить с ними трапезу. Отказаться значило бы обидеть людей, а о том, что такое обида для кавказца, они имели некоторое представление, поэтому решили принять предложение. Хотя большинство труппы составляли молодые и красивые девушки, все же они поняли, что их пригласили по законам гостеприимства и обычаям страны гор, и, надо сказать, они поступили правильно. Не успели они присесть за импровизированный стол, как люди, узнав, что это эвакуированные артисты из Москвы, стали им нести разнообразную еду, хотя особой необходимости в этом не было. Но отказать было невозможно. Их приглашали в гости, старались хоть как-то помочь – в общем, люди к ним не были безучастны.

Артистам еще и дали продукты с собой и проводили их до гостиницы. И, как вспоминал Никулин, не только ему, но и всем артистам тогда впервые довелось попробовать черную икру. И пока они жили в Махачкале, они непременно приходили в парк, где со многими местными жителями познакомились и подружились.

В городе были два кинотеатра: «Темп» и «Комсомолец». Каждый кинотеатр имел два зала и еще летний кинозал. Иногда было интересно посмотреть по сторонам во время демонстрации фильма. На заборе, на деревьях, на будке киномеханика – всюду, откуда только можно было смотреть, сидели мальчишки и смотрели на экран, это было верхом удовольствия для них. Но главным культурным центром был, конечно, махачкалинский Русский драматический театр. К сожалению, интеллигенции на спектаклях почти не было, так как в то время она почти вся была уничтожена большевиками, так же как и во всей стране.

Что касается молодежи, то она, как и во все времена, была легкомысленной и беззаботной. Город делился на отдельные районы, но не в административном плане, естественно, в Махачкале тогда районов не было вообще. Молодежными районами были: «портовские», «Десятка» (по Буйнакской улице), Гургул-аул (тупики в квадрате улицы 26 Бакинских Комиссаров), Грозненский, Батырая, городок нефтяников, поселок рыбаков, 4-й и 5-й поселки, поселок Тарки. Их границы нельзя было определить с точностью, равно как и отдать пальму первенства какому-то из этих районов. Между ними постоянно происходили битвы, другое слово я затрудняюсь подобрать, шли не только квартал на квартал, улица на улицу, но и район на район.

Надо было видеть, как, с каким апломбом приходили представители одной из противоборствующих сторон в другой район и вызывали противника на драку. Перед дракой они вели переговоры: о количестве бойцов, о виде оружия (под словом «оружие» имелись в виду велосипедные цепи, дубинки, иногда арматура) и о месте встречи. Обычно встреча происходила в питомнике, близ 5-го поселка (сейчас поселок весь застроен домами). В массовых драках я никогда не принимал участия, так как для такого ответственного боя выбирались здоровые, сильные и крепкие ребята. Я же отличался выносливостью и настырностью, но этого для драки было мало. Но я всегда присутствовал на таких побоищах. Вот как это происходило. На день битвы в городе объявлялось перемирие, то есть любой молодой человек мог зайти в чужой район, и на него никто не смел поднять руку. С самого утра вся молодежь города тянулась к месту сбора, чтобы успеть к намеченному часу. И вот представьте себе – огромная поляна, на которой с обеих сторон стоят примерно по сто, а иногда и поболее молодых, атлетического вида

ребят, сжимающих что-то в руках. Они ждали (рефери всегда выбирали из взрослых, обычно сидевших и всеми уважаемых людей), и когда команда звучала, то обе стороны устремлялись друг на друга с громкими криками гладиаторов, идущих на смерть. Картина, уверяю вас, была не для слабонервных. Основные правила были почти всегда одинаковы: ножи не иметь, лежащих не бить и т. д. Время битвы также определялось заранее – час или полтора. По истечении назначенного времени велся подсчет. Та из сторон, у которой больше людей оставалось стоять на ногах, была победителем, а значит, и район их считался самым крутым, как сейчас принято говорить. В общем, «весело» жила молодежь того времени. Иногда были драки один на один, но происходили они только на горе Тарки-Тау. Так уж повелось, а вот откуда – не знаю. По вечерам в городе, чуть ли не до утра, почти на каждом углу ребята играли на гитарах и пели, резались в нарды, иногда курили анашу и пили сухое вино. Можно было ночью спокойно идти с девушкой, зная заранее, что никто не посмеет к вам пристать. Даже если кто-то и имел какие-то претензии к парню, он обязательно должен был дожидаться, когда тот проводит девушку домой. Ночью почти все набережные города были усеяны парочками – как грибами после дождя, никому и в голову не могло прийти их потревожить.

Глава 2

Нравы моего города

Есть люди, которые остаются честными из страха перед законом, но есть и такие, которые честны по природе, на мой взгляд, мои земляки принадлежат ко вторым. Как бы ни было тяжело людям жить после войны, все же детей своих они старались воспитывать честными и порядочными. Мне кажется, что из десяти заповедей, посланных нам Всевышним, в Дагестане на первом месте стояла – не укради. После войны пацанва, будем так говорить, подворовывала, не без этого, но с возрастом все это уходило, и лишь немногие, кому на роду, видно, было написано воровать, занимались подобным ремеслом. И среди этих немногих, к сожалению, был и я и мои друзья.

Мало кто знает, что «воровская Махачкала» того времени была в немалом авторитете среди признанных блатными российских городов – такими, как Ростов, Москва, Баку, Одесса и прочие. С ней считались, и уж на задворках «блатной империи России» она не была, это уж точно. Хотя, если брать в соотношении, то меньше всего так называемых воров в законе было, наверное, в Махачкале, но зато это была, безусловно, воровская элита, которую знали далеко за пределами города. Достаточно назвать несколько имен: Паша, Гаджи (Халил), Мухтар (Джибин), Нави.

У наших евреев (татов) самая святая клятва – «папа муно». Так вот, когда они хотели показать значимость своей клятвы, они говорили «Нави муно». Нави по национальности был еврей, его именем и клялись евреи. Какими же качествами должен был обладать человек, чтобы целая нация клялась его именем. Воровская профессия у него была – карманник. Возвращался он однажды в воскресный день из Дербента, у него в автобусе пошла горлом кровь, Нави был чохоточником, – так и умер, не доехав до Махачкалы.

Паша по профессии был тоже карманником, да к тому же еще и игроком. В «третьими» (самая сложная воровская игра в карты) равных ему не было не только в Махачкале, но и почти по всему Северу, за исключением Монгола и Хирурга. Но жить на свободе одной игрой вор не имеет права, ибо тогда он уже им не будет. Он обязательно должен еще и воровать, это незыблемый воровской закон. Кстати, и карманником Паша был незаурядным. Мы жили через забор, на улице Ермошкиной, и когда я родился, то из роддома вынес меня именно он, ведь отец мой сидел – это мне уже потом рассказали.

Гаджи (Халил) прошел на Севере сучьи войны, в крытых тюрьмах ломки и подписки и нигде не сломался, везде на Севере его уважали и знали, так же как и Мухтара (Джибина).

Очевидцы рассказывали, как они вдвоем целый барак блядей вырезали, сами, конечно, тоже пострадали, но выжили. У Гаджи (Халила) был младший брат Арслан, правда, в законе он не был, но был удостоен многих воровских привилегий и по праву пользовался ими. Ему тоже пришлось немало отсидеть, о нем даже в одной из своих песен упоминает Высоцкий как о достойном каторжанине, вот слова этой песни: «А через стенку сидит (Халил) Руслан, а там, где он, всегда ништяк, всегда житуха». Правда, Высоцкий называл Арслана Русланом – так, видно, было созвучней.

Да, вот еще что хотелось бы отметить: после смерти последнего вора у нас в Махачкале, где-то в конце 60-х годов, больше тридцати лет не было воров. Что же касается карманников, то Махачкала в этом отношении никому не уступала. Эту воровскую профессию, кроме как иллюзионном, другим словом не назовешь, и у нас в городе были такие иллюзионисты. Мало того, об их мастерстве ходили легенды, но об этом в следующей главе. А сейчас я бы хотел рассказать немного о правосудии того времени, при этом сделать некоторый акцент на милицию и уголовный розыск.

Я вообще не представлял жизни без милиции, так же как и она почти полвека не представляла ее без меня и мне подобных. Пытаясь быть объективным, я постараюсь кое-что воскресить в памяти из прошлого. К сожалению, у меня не было доступа к архивам МВД, иначе читатель узнал бы куда более интересные истории, да и самому мне было бы любопытно. Но, увы, может, после выхода этой книги у меня появится такая возможность, а пока приходится писать по памяти, которая, хвала Всевышнему, подводила меня в жизни очень редко, если не сказать не подводила вообще.

Во всей Махачкале работал один горотдел милиции, находился он на Пушкинской, 25. Районов тогда не было, а «гоношились» еще маленькие отделения: водное (в порту), 1-е в первой Махачкале, 2-е в 5-м поселке и 3-е на месте нынешнего суда. В то время, если мне память не изменяет, начальником горотдела был полковник Лавров, его заместителем – Анохин, а начальником уголовного розыска – Багдасаров, дядя Яша. Частенько мне приходилось бывать в этом самом горотделе, потому и запомнил их всех, особенно начальника уголовного розыска. Сейчас родители пугают маленьких детей, если они не слушаются, чертом, домовым или, на худой конец, Бабой-ягой. Нас же, маленьких, пугали милиционером, и это моментально давало свои результаты. То есть дети милицию боялись, ну а взрослые ее уважали. И уважать было за что. Надо было столько натворить дел, набедокурить и так надоесть, чтобы тебя внаглую посадили, да и то в самой милиции это считалось верхом неприличия. И уже сами работники смотрели на такого человека косо, ожидая от него чего угодно. А о том, чтобы подсунуть что-то в карман, не было и речи. В милиции того времени существовали свои этика и мораль: либо брали взятку, либо предупреждали: я неподкупен, бойся. Таких, честно говоря, было большинство. И уж если сажали, то ты знал, что преступил закон, а потому и не было обидно сидеть. По большому счету, работа милиции была – ловить, наше же дело было – не попадаться, даже такая поговорка бытовала: «Не тот вор, кто ворует, а тот, кто не попадается». К сожалению, в наше время всеобщего беспредела и хаоса даже старые поговорки такого рода, увы, неактуальны. Ничего не было удивительного в том, что начальник уголовного розыска или его заместитель могли смело прийти на любую воровскую хазу и обратиться за помощью, и редко когда им отказывали. Равно как и воры иногда обращались за помощью к ним, в основном, конечно, это были просьбы о собратях, попавших в беду. И в действиях тех и других не было ничего удивительного и предосудительного, потому что никто не переходил рамки дозволенного. Если это не противоречило канонам общества, к которому принадлежали те и другие, почему не помочь. Да и, ко всему прочему, все это делалось открыто и честно. А разве можно не уважать партнера, если он честен? Вот так и жили в тесном соприкосновении милиция и преступный мир, взаимно уважая друг друга (если их поступки заслуживали такового), не считая того времени, когда одни ловили, а другие старались не попасться. И это тесное

соприкосновение давало огромный опыт как уголовному розыску, так и милиции в целом. То есть я хочу сказать, что, хорошо зная нравы и обычаи преступного мира, манеру, характер и специфику «работы» той или иной воровской профессии, будь то карманник или домушник, медвежатник или майданщик, сотрудники очень редко ошибались в выборе метода раскрытия преступления. А опыт сей можно было почерпнуть, лишь контактируя непосредственно, естественно, в хорошем смысле этого слова. Огонь и вода тоже могут быть союзниками, пример тому – гидроэлектростанция. Конечно, без ренегатов тоже не обходилось, но этот фактор уже можно отнести к производственному браку. Если, например, где-то происходило убийство, а для Махачкалы это было огромное ЧП в то время, то никогда не собирали всех судимых, чтобы с утра и до вечера держать их во дворах милиции, да еще задействуя при этом почти весь штат уголовного розыска. Такой подход к делу говорит не только о недостатке профессионализма, но и о самом что ни на есть попустительстве и никчемном отношении работников уголовного розыска к своей работе. А наоборот, обладая все тем же опытом общения, тогда подходили к делу логически, то есть путем исключения, ибо опираться стоит лишь на знание, которое подскажет путь к истине. Зубры уголовного розыска знали, что преступный мир огромен, это целое государство со своей конституцией, своими канонами, царями и их подданными. И то, что было приемлемо для одних, для других – строгое табу, то, что могут сделать одни, другим не под силу. Так что, если даже в районе или просто в доме жило много судимых людей, то из них порой никого и не трогали, зная почти наверняка, что данное преступление к ним никакого отношения не имеет. Надо ли повторяться, говоря, что такой подход к делу был абсолютно выгоден обеим сторонам. Молодые сотрудники смотрели на своих старших товарищей, брали с них пример в полном смысле этого слова, а потому это была организация, где каждый думал не о том, как бы подкинуть сверток с анашой какому-нибудь бедолаге, а как, опираясь на опыт старших, по возможности правильно подойти к делу. Каждый старался внести свою коррективу, а значит, и свою лепту в общее дело. Вот почему это была организация, которую боялись одни, но за деловитость уважали другие. Ведь главный бич для преступного мира – беспредел. Он исключает или почти исключает такие понятия, как благородство и честность, что, думаю, весьма немаловажно для нашего времени. Видя благородство и честность со стороны людей вне закона, то есть с нашей стороны, менты порой тоже проявляли благородство и порядочность, человечность и сострадание, и не отметить это обстоятельство, мне кажется, было бы несправедливо. Хотя бы даже по отношению к тем, о которых не грех вспомнить добрым словом. К сожалению, то время кануло в прошлое, и сейчас уже трудно встретить что-либо подобное. Вот один из характерных примеров, хотя, откровенно говоря, в жизни моей жиганской такой пример был единственным. Было это очень давно, в столице нашей златоглавой, этак годов тридцать назад. Гоняли мы тогда бригадой «резину»: от «Детского мира» идо самого ресторана «Арбатский». По ходу, «на трассе», у нас все было увязано. Довольно часто встречался нам один ширмач, он гонял марку постоянно один, мы это заметили, но к нам он никогда не подходил, и мы держались в стороне до поры до времени. Был он, видно, таким же любителем пива, как и мы, потому что в пивбаре «Жигули», что находился тогда в переулке за «Валдаем», мы его частенько видели. Как-то так получилось, что мы познакомились «по ходу пьесы», а среди крадунов так часто бывает, и в конце концов сошлись. Кликали ширмача Тушканчик, настоящего его имени мы так и не узнали. Сам по себе он был молчуном, но плохо втыкал, а главное – кореша в беде никогда не оставлял. И вот однажды, а в то время Тушканчик уже месяца три работал с нами, получает от сестры из Сибири телеграмму о том, что она в тяжелом состоянии. И вот когда он собрался поехать к ней, нам дает наколку один старый домушник на дачу одного жирного бобра с условием, что с нами же пойдет на дело. Предложение со всех сторон было выгодным. Во-первых, сулило нам неплохой барыш, а во-вторых, накольщик все же шел с нами на дело, а это обстоятельство вселяло в нас надежду на безопасность, так как скурвлённый, по нашей логике, сам в деле обычно не участвует. Но

мы, к сожалению или к счастью – не знаю, просчитались. При обсуждении, принять или не принять предложение, Тушканчик молчал, а вот когда спросили его мнение, он сослался на какие-то крайне неотложные дела и неожиданно покинул хазу, сказав, что одобрит любое наше решение и скоро вернется. Мы, естественно, были в некотором недоумении, но тормозить его не стали, он еще ни разу не дал нам повод думать о нем плохо. Это прихоть, мало ли, подумали мы и продолжили обсуждение. В конце концов решились идти на это дело. Но прошел уже целый день, а Тушканчика все не было, мы уже стали беспокоиться, как вдруг услышали звонок в дверь. Кроме Тушканчика, никто не знал эту хазу, и мы никого не ждали, но это был не Тушканчик, а какой-то оголец, лет десяти-двенадцати. Он протянул нам конверт, сказав: «Это вам», и убежал. В конверте оказалась маленькая записка, вот ее содержание: «Бог вам в помощь, и не поминайте лихом. Тушканчик», но чуть ниже был постскриптум: «Выгляните в окно». Мы кинулись к окну. Напротив нашего дома стоял «Москвич», капот был открыт, и в моторе ковырялся водитель. Возле машины стоял офицер милиции, звезд на погонах было не разобрать, и не торопясь, видно, что-то объяснял шоферу, который успевал и копать в машине, и, подняв иногда голову, слушать, что ему говорят. Этим офицером был Тушканчик. Если бы рядом разорвался боевой снаряд, я думаю, эффект не был бы таким, каким он был в тот момент, когда эта картина предстала перед нами. Мы стояли как парализованные, с выпученными, как у молодых бычков, глазами до тех пор, пока водитель не закрыл капот и машина не тронулась с места, увозя нашего бывшего кореша в неизвестность. Он даже напоследок не помахал нам рукой. Мы были в шоке довольно долго, но, как говорил все тот же ветхозаветный еврей, все проходит, и шок тоже прошел. Ни я, ни мои друзья никак не могли понять, в чем дело. И лишь годы спустя я понял хитрый ход легавых, да, им ума и профессионализма, конечно, было не занимать. МУР всегда был конторой серьезной, и с этим заведением все считались. А дело было, видно, в том, что им, вероятно, нужен был кто-то из старых и авторитетных воров. Войти в воровскую среду дилетанту практически невозможно, а менту тем более. Это только в кино показывают – сказки наподобие «Черной кошки». Ну а нам, молодым крадунам, Тушканчик смог промести пургу, мы ее проглотили, хотя он и был где-то нашим ровесником. Ну а с нами ему были открыты двери любых воровских хаз и «малин», ибо нас там знали каждого чуть ли не с пеленок. Это негативная сторона истории. Что же касается позитивной стороны, то выходит следующее. Видно, выполнив свое задание, мент уже собрался кануть в небытие, как читатель помнит наверное, сославшись на телеграмму от больной сестры, как вдруг увидел провокатора, который пришел дать нам наколку. Видно, эта сука не знала Тушканчика, но зато он его хорошо знал. И вот, помня наше простое, доброе жиганское отношение к себе, нашу честность и порядочность, он решил отплатить нам той же монетой, ответив таким оригинальным способом, что у некоторых чуть не отнялся дар речи. Вообще, честно говоря, муровцы в то время были большие оригиналы буквально во всем, что касалось их профессии. О том, почему я пришел к такому выводу, читатель найдет ответ позже на страницах этой книги. Неясно мне осталось лишь одно – зачем было посылать к нам этого перевертыша? Ведь если надо было, они и так могли в любое время любого из нас пригасить. В тот же день мы поставили в курс воров о случившемся и затаились, как кроты, а когда прошло некоторое время, мы разыскали эту старую падаль и разобрались с ним, как у нас поступали с такими, чтобы он уже никогда не смог давать такого рода наколки никому. Но это уже другая история.

Глава 3 Любовь

Еще в дороге мать отдала мне письмо от Валеры, которое пришло почти месяц назад домой. Находился он в городке Наур (Ингушетия). Писал, что все у него хорошо, просил не беспокоиться, тем более что оставалось ему до свободы три месяца. Как только я приехал

домой, тут же написал ему ответное письмо, пообещав приехать к его освобождению. Благо было недалеко, да и я успел бы к этому времени подсобрать кое-что из мануфты, подумалось мне. Ну а мама по приезде тут же послала ему посылку, которую принимали только по паспорту, а у меня его еще не было.

Преступный мир того времени был почти всегда на высоте, так что, когда освобождался достойный человек, независимо от возраста, а тем более если его профессия в преступном мире – воровство, его всегда встречали как и подобает: давали, а вернее, выделяли из общака деньги на первое время, чтобы можно было немного отдохнуть от тюремных тягот, опять-таки не рискуя потерять свободу. Так что до Нового года я мог спокойно прийти в себя, отдохнуть, чему не преминул предаться со всем пылом, свойственным людям моего возраста. Говорят, с кем встретишь Новый год, с тем и проведешь его, и мне довелось убедиться в правоте народной мудрости, когда наконец праздник наступил.

Была у моей мамы самая близкая подруга, они вместе учились в молодости, вместе воевали, вместе и работали после войны. Считайте, что примерно в одно время они и родили своих детей, правда, я был на три месяца моложе Оли. Всегда наши семьи встречали Новый год вместе, не был исключением и этот Новый год, с той лишь разницей, что предыдущие пять лет меня с ними не было. Из двенадцатилетней девчужки, какой я запомнил Олю, она превратилась в красивую и статную девушку. Мое общение с женским полом, по сути, ограничивалось мамой и бабушкой. В детстве мы с мамой часто ходили к Симе Семеновне, и тогда маленькая Оля была моим постоянным партнером в разных играх и забавах, но сейчас все это казалось каким-то сказочным сном. А если учесть, что переход из детства в юность я совершил в заключении, где почти не имел времени для передышек, чтобы хоть немного помечтать на этот счет, то, надо полагать, в юной фее я увидел божественное создание. Как она была хороша в своем белом бальном платье! Я же сидел как истукан, не смея поднять голову, уткнувшись носом в тарелку. Если бы до этого мне кто-нибудь сказал, что я окажусь в таком положении, я бы рассмеялся ему в лицо, сейчас же я не узнавал самого себя. Уже несколько раз в жизни мне приходилось делать над собой усилия и сдерживать свои чувства, сейчас же оно навалилось на меня как медведь, зажав со всех сторон, только лишь не кусая, и я даже не знал, как оно называется, ибо никогда не испытывал еще ничего подобного, и я, естественно, не знал, как мне поступать. Конечно, за всем этим наблюдали наши матери, а когда они поняли, в чем дело, пришли мне на помощь. Нас по очереди пригласили в другую комнату и оставили наедине. Каким бы шумным и веселым ни было застолье за стеной, мне все же казалось, что стук моего сердца слышен далеко вокруг. Как ни странно, но Всевышний наделил женщину храбростью и решительностью, которые необходимы именно тогда, когда мужчина, наоборот, их теряет. Обладая врожденным тактом, Оля повела себя так, что через несколько минут мы оба смеялись, вспоминая что-то забавное из нашего не такого уж и далекого детства, а вспоминать, оказывается, было что. Женщины, ко всему прочему, обладают неопределимым преимуществом перед мужчинами – они умеют хорошо скрывать свое волнение. Потихоньку я раскрепостился и стал приходить в себя, когда же окончательно взял себя в руки, чтобы по возможности лучше разглядеть подружку моего детства, мы уже сидели за общим столом друг против друга. Напротив меня сидела очаровательная шатенка, с черными выразительными глазами, со сдержанной и милой улыбкой на устах. Ее волнистые волосы ниспадали на плечи, на ней было белое как снег бальное платье. Это все, что я запомнил, и, думаю, нетрудно догадаться, что все это свело меня с ума в тот же вечер, вернее, в новогоднюю ночь. Я влюбился. Хочу заметить, что нравы того времени были таковы, что ставили массу препятствий перед юношей, который хотел поухаживать за девушкой. Да и воспитывались мы в строгом благонравии, так что, будь то бандит, вор или даже убийца, границы дозволенного он не переступал никогда. Родная мать могла проклясть и выгнать из дому сына, если он, не дай бог, обидел девушку. Когда мы заходили к друзьям, у которых были либо молодые жены, либо молоденькие сестренки, головы наши

были постоянно опущены, если они находились рядом. Так что в нравственном плане наше воспитание было на высоте, и это трудно оспаривать даже по прошествии сорока лет. И хотя Оля была наполовину еврейка, наполовину русская, это в принципе ничего не меняло, ибо в Дагестане не знали, что такое национальность. Все жили по одним нравственным законам, и придерживались их тоже все без исключения. Преимущество же мое, дававшее мне право на некоторые льготы в плане ухода за девушкой, было в том, что выросли мы с Олей почти рядом, матери наши были ближе родных сестер. А главное – Сима Семеновна любила меня как сына и также верила мне. Естественно, я не преминул воспользоваться своим положением и, Бог тому свидетель, ни разу не дал даже малейшего повода для сомнений в моей порядочности. Каждое воскресенье мы проводили вместе целый вечер. Ходили в кино, гуляли по бульварам, сидели у моря, наслаждаясь прохладой и уединением. Это было незабываемо, и много позже, сидя в одиночных камерах, я так ясно все представлял себе, что предо мною оживали картины этого небольшого отрезка времени, когда я был счастлив.

Так почти незаметно пролетели три месяца, приближались два важных для меня события: это освобождение Валеры и буквально через несколько дней должен был наступить день рождения моей принцессы.

За Харитойшей мы поехали почти всей бригадой, дома остался только старый Чует. Воровское братство, как я писал, было дружно и свято, достаточно было моего рассказа о наших злоключениях, и все уже считали Валеру своим братом. Так что встретили мы его и привезли в Махачкалу, как и подобает, чисто по-жигански, а родители мои отнеслись к нему как к родному сыну, равно как и Оля тут же признала в нем брата. Надо отдать должное моему корешу, он заслуживал уважения и внимания. В общем, считайте, весь март мы кайфовали, а в начале апреля проводили Харитошу домой. Выглядел он уже как новый рубль, при полном прикиде, отдохнувший и довольный. Мы даже о его бабушке не забыли, такой огромный платок ей купили, что, если его разрезать, запросто хватило бы четырем женщинам. Я обещал, что летом, даст Бог, приеду с корешами в златоглавую, и, передав привет нашим товарищам, мы простились как родные братья. И уже через несколько минут паровоз, тяжело пыхтя и выпуская тучи пара, увозил моего кореша домой.

В моем повествовании постоянно приходится нарушать хронологию, для того чтобы объяснить читателю ту или иную ситуацию: нравы, быт как преступного мира, так и общества в целом, да и массу других деталей, без которых очень трудно будет понять отдельные главы этой книги. Поэтому я просил бы читателя быть немного терпеливым.

В те времена, о которых я пишу, в заключении молодежь делала себе татуировки. Это считалось признаком хорошего тона у малолеток, особенно в ходу была решетка, переплетенная колючей проволокой, за нее ухватились две руки в кандалах, на этом фоне роза и надпись: «Цени любовь и дорожи свободой». Рисунок был впечатляющий, да и надпись нравилась юным зекам, ведь, безусловно, кто-то в этом возрасте уже успел кого-то полюбить, а тут неожиданно-негаданно – тюрьма, как не сокрушаться и не проклинать всех и вся, кроме конечного, истинного виновника своих бед и страданий – самого себя. И все это потому, что в этом возрасте человек еще почти не способен анализировать свои поступки, а тем более делать соответствующие выводы из свалившегося на него горя. А ведь именно в этом возрасте молодежь должна понимать настоящее значение таких слов, как эти, либо кто-то из взрослых должен объяснить им их суть, чтобы впоследствии не знать, что такое тюрьма и вообще преступный мир. Поэтому ценой любви должна быть всегда сама любовь, а она не способна толкнуть на дурной поступок – это аксиома. Что же касается свободы, то ею нужно дорожить всегда и везде ради той же любви, ради самой свободы, как таковой, ради того, чтобы никогда не узнать и не увидеть всю мерзость тюремного бытия, как те, кто завязал в болоте, кто не в силах был совладать с собой перед теми искушениями, которые поначалу жизнь предоставляла нам во всех своих радужных

красках, как бы испытывая нас, чтобы затем повергнуть искущенного в земной ад, название которому – тюрьма.

Глава 4

Сема Чуст

К сожалению, сколько помню себя, всегда и везде меня считали лучшим из карманников. Хотя это высказывание звучит не очень-то скромно и, наверно, режет слух любому честному человеку, но было именно так. Я не знаю, откуда взялись у меня такие способности, может, от кого-то из прошлой жизни, но вот откуда пошло мое прозвище, помню хорошо.

Воровали карманники в основном бригадами. То есть собирался коллектив с почти равными способностями в своем ремесле. Основой бригады был втыкала, человек, который умеет лучше других членов данного сообщества извлекать содержимое карманов, сумочек и прочих тайных мест, куда люди обычно прячут деньги, золото и другие ценности. Остальные исполняют функции ставщика, человека, который старается любыми путями подвести объект, чтобы тому, кто втыкает, легче было извлекать содержимое карманов. Далее идет тот, кто на отводе, он старается отвлечь как потерпевшего, так и любого другого, кто слишком любопытен. Ну и, наконец, тот, кто на пропуле, ему втыкалы тихонько передают украденное, чтобы он мог незаметно уйти с ним либо просто отойти в сторону. Все понимают друг друга по взглядам, разговаривают глазами, в «работе» все равны, так же как и в жизни. Единственная и не особо значительная привилегия предоставляется тому, кто водит бригаду, – обычно это человек старше всех по возрасту, опытнее других.

Нас было пятеро, самым младшим был я, все же остальные были самое малое на 15 лет старше меня. Самым старым был Чуст – он и водил бригаду. Это был типичный представитель рода иудеев – чуть выше среднего роста, тонкий, но крепкий, черная борода и усы тщательно пострижены. На широком волевом лице с несколько выдающимися скулами лежал отпечаток многих страданий, однако глаза под припухшими веками плутовски поблескивали. Но главной особенностью этого человека были его руки, точнее, ладони рук, они были вывернуты почти наоборот, он таким и родился. И вот этими руками он умудрялся вытворять невероятные чудеса – никогда в жизни я не встречал человека, который мог бы сделать что-либо подобное. Это был, пожалуй, своего рода иллюзионист, равных которому я не знал, да и по сей день не знаю, хоть давно порвал со своим воровским прошлым. Как-то раз, еще до того как мы стали вместе красть, он сказал мне: «Ты не по годам способен, Заур, и во многом превосходишь остальных, и я знаю, что говорю тебе это не первый. Но запомни, лишь тогда ты станешь профессионалом, когда сможешь делать то, что своими руками делаю я». Надо учитывать, что воровство считалось одним из доходных «ремесел» того времени, а любой из моих сверстников-«коллег» пытался превзойти другого во всем, что касалось мастерства ловкой добычи денег. И на тот момент, о котором пишу сейчас, мало того что я продемонстрировал старым ширмачам свои недюжинные способности, я еще кое в чем умудрился превзойти даже своего учителя. Но для того чтобы тебя считали профессионалом своего дела, этого все же было мало. Нужно было еще и хорошо работать письмом, то есть уметь работать мойкой-лезвием, а это действительно было целое искусство, которое требовало постоянных тренировок. Для того чтобы научить красиво, а главное – незаметно украсть, вешали на чучело колокольчики, чтобы по звону определять нерадивость ученика. Для меня это был уже пройденный этап. Достаточно представить себе несколько такого рода картин, чтобы определить сложность, ловкость и почти ювелирное мастерство работы письмом. Женщины в то время прятали деньги в основном в чулки, затем резинкой их перетягивали, либо в лифчик, это считалось кладовыми за семью печатями. И вот в автобусе или в толпе нужно было так тихо вырезать деньги, чтобы ненароком не задеть тело и чтобы потерпевшая не почувствовала даже малейшего прикосновения, ибо эти места, с

позволения сказать, одни из самых интимных у женщин и очень чувствительных. Про мужчин я не говорю. Им вырезали карманы рубашек, брюк, галифе, для ширмачей-писак фантазии не было предела, лишь бы красиво утащить деньги. Думаю, читатель согласится, что умение так ловко орудовать как пальцами рук, так и лезвием дано не каждому, и даже тем, кто обладал этим талантом, все же следовало постоянно учиться, так как каждый раз приходилось совершенствовать свое ремесло. Люди старались прятать свои деньги подальше от воров, а милиция решила ужесточить закон по отношению именно к писакам. За использование лезвия статья 144 уже трактовалась как применение технических средств, давали сразу 4-ю часть, и срок мог быть от 4 до 10 лет. Но и мы не дремали, решив полностью исключить лезвие из своего арсенала, а заменили его монетой. Брали двадцатикопеечную монету, оттачивали полукругом до толщины лезвия и смешивали с остальной мелочью, бросая ее в карман. Работать письмом с лезвием было само по себе сложно, ну а с монетой было еще сложнее и требовало дополнительных навыков. Но зато того, кто владел этим мастерством, уважали и чтили в любой воровской среде, уже не говоря о том, как его почитали «коллеги», – это был профессионал. Далеко за пределами своей вотчины воры знали друг друга, а особенно карманники, потому что, как только начиналась весна, они уезжали на «гастроли» и почти до самой осени странствовали по стране, общаясь друг с другом, узнавая что-то новое и полезное для себя. По приезде в какой-нибудь город, прежде чем идти воровать, они ехали на «малину», чтобы повидать людей, пообщаться, да урок в курс дела поставить, что прибыла бригада ширмачей. Такие «малины» были в каждом городе. В Махачкале, как я писал ранее, это была Биржа, в Нальчике – Колонка, в Грозном – Шидовка, в Пятигорске – Горпост, в Орджоникидзе – Малаканка, в Баку – Кубинка, в Ростове – Вагонка, в Одессе – Молдаванка. В общем, в каждом городе были свои излюбленные места, где собирались и коротали время представители преступного мира.

На этот раз мы прибыли в Пятигорск. Был конец весны, а значит, пора гастролей ширмачей, ведь на Кавказе весна приходит раньше, чем в других регионах страны. А значит, и «работали» ширмачи до лета в этом теплом регионе. В Пятигорске я был впервые. Для нас Пятигорск считался одним из самых богатых городов Союза – в том плане, что приезжали сюда одни толстосумы на отдых, да и жители жили не на зарплату, это были в основном армяне, евреи, ну и, конечно, русские. Долго мы здесь оставаться не могли, ибо в таких денежных метрополиях существовала своего рода очередность. То есть без залетных бригад ни один из таких городов не оставался. Так что, не успев прибыть, мы сразу наведались куда надо и, кого надо увидев, поехали на хазу, где обычно и останавливались залетные ширмачи. Попали мы как с корабля на бал. У одного из крадунов был день рождения. И вот, изрядно повеселившись и немного охмелев, вся братва, которая была в этот день здесь, расположилась полукругом во дворе под цветущими фруктовыми деревьями, от которых исходил такой дивный аромат, что его трудно забыть даже по прошествии почти сорока лет. После обильного застолья, когда оставались одни крадуны, по воровской традиции полагалось всегда перейти к рассказам о новостях, которые происходили в преступном мире последнее время. Здесь обычно были люди почти из всех регионов страны, так что услышать их рассказы было все равно как узнать что-то новое. Ну и, конечно, не обходилось без ставшего уже почти традиционным спора, где лучшие карманники в стране. Кто лучший на то время, когда происходил спор? Если определить сразу лучшего не могли, спор этот всегда можно было разрешить наглядным образом, на следующий день. Благо рефери были все профессионалами, если не сказать больше. Но даже если они признавали чье-либо превосходство, это не давало его обладателю никаких привилегий, кроме, пожалуй, одной, самой, на мой взгляд, важной. О нем, а точнее, о его способностях знали уже далеко за пределами его вотчины, а это, с воровской точки зрения, было очень серьезно, учитывая воровские критерии. В спорах такого рода участвовали урки и те из карманников, кто был постарше, молодежь обычно только слушала. Почти одновременно с нами в Пятигорск из Питера прибыла бригада ширмачей, которую водил Леня Дипломат, все они находились здесь

на дне рождения. Я был непьющий и поэтому, изрядно захмелев, сидел почти полулежа, облокотившись о ствол дерева, положив голову на плечо Гундоса (это был младший брат Чуста, но до старшего ему, конечно, было далеко), и немного дремал. Своим чередом шло застолье с тостами и разговорами, но я ничего не слышал, мне хотелось, чтобы меня никто не трогал, чтобы никто не видел, что я пьян и не в состоянии поддерживать разговор. Но, как обычно довольно часто бывает, чего мы очень не желаем, то и происходит. Как я уже сказал, я дремал, покоясь под каким-то душистым деревом, когда неожиданно почувствовал толчок. Это Гундос тормозил меня. Сквозь какую-то пелену я услышал слова Чуста: «Ну как, братишка, согласен?» – «Да», – машинально ответил я, как будто внимательно слушал, а вопрос меня несколько не удивил. Я постарался вникнуть в суть разговора, но мне это не удавалось. Хочу заметить, что бахвальство, от кого бы оно ни исходило, в таких кругах исключалось, ибо в базаре всегда принимали участие урки, и это налагало свой отпечаток. И поэтому лаконичный и скромный ответ молодого ширмача приняли как приятную воровскую неожиданность. Когда же я пришел в себя, Чует объяснил мне, в чем заключался спор. Хочу также заметить, что Чует был очень знаменит в воровских кругах, способности его были незаурядны, да и прошел он некоторые лагерные этапы своей жизни достойно, всюду, где был, он постоянно общался с урками, никогда ничего лишнего не делал и не говорил. Так что сказанное что-либо таким человеком воспринималось на полном серьезе, тем более что дело касалось той части нашей жизни, с которой он был знаком намного лучше, чем некоторые из присутствующих. А должен был я ни много ни мало на следующий день показать свое мастерство и тем самым удивить и бригаду урок, и не просто удивить, а чтобы и они признали мои способности незаурядными. Надо ли говорить, что я ни на секунду не сомкнул глаз в эту ночь. Задача передо мной стояла не просто трудная. Под утро, проснувшись и видя, что я не сомкнул даже глаз, Сема сказал мне: «Если бы я хоть на секунду сомневался в твоих способностях, я никогда не затеял этот спор. Да ты и сам знаешь себя. Так что вперед, Заур, либо ты будешь сегодня на Олимпе воровской славы, либо о тебе вообще никто не будет знать или будут знать как о болтуне. Сегодня ты поймешь, что для достижения намеченной цели одного упорства, силы воли мало, нужно иногда и рисковать». Сказав все это, Сема (а так звали Чуста) пошел ставить чайник и умываться, а я еще долго кубатурил его слова, но уже на душе было чуть полегче. Многие урки, с кем я был уже знаком, знали, как я прошел малолетку, с какими урками виделся и знался, иначе бы они меня и близко не подпустили. Я отмечал в предыдущих главах, как было строго в воровской среде, после всех этих сучьих войн и последствий после них. Урки уважали меня как молодого крадуна, а это в моем возрасте было совсем немало, так как уважение нужно заслужить, а тем более в такой среде, как воровская. И вдруг из-за пары слов, сказанных спьяну, я мог разом лишиться уважения и тех немногих привилегий со стороны урок, на которые давало право мое маленькое, но достойное прошлое. Так что оснований для переживаний и бессонной ночи у меня было больше чем достаточно. Не знаю, как сейчас, но в то время, о котором я пишу, в Пятигорске в воскресный день все дороги вели к «Людмиле», на базар. С раннего утра и где-то до обеда забитые до предела трамваи, автобусы и частный транспорт устремлялись на базар, чтобы приблизительно в такой же последовательности возвратиться с покупками после обеда. В общем, до вечера движение было подобно движению в муравейнике.

Глава 5 Я Золоторучка

Редко кому оказывалась такая честь – «работать» в одной бригаде с урками, но честь эта могла обернуться для меня позором, и я это прекрасно понимал. Единственно, в чем я был абсолютно уверен, – это в своих способностях, и, уповая на Бога, ранним воскресным утром вышел с урками «на трассу».

Где бы ни была или куда бы ни заходила бригада ширмачей, будь то базар или автобус, магазин или лабаз, карманники всегда держатся особняком, при этом ни на секунду не упуская из виду друг друга, и при первой же необходимости устремляются на помощь подельникам.

Мы стояли у трамвайной остановки, рядом со входом на базар, откуда недавно вышли, когда мимо меня прошел Дипломат, успев бросить мне на ходу фразу: «Фраер в робе, левяк, вторяк, паковал грини, будешь торговать, маякни!» Фраера даже искать глазами не пришлось, он стоял рядом, в сварочном комбинезоне, с пачкой электродов в руке. Меньше минуты мне хватило, чтобы оценить всю сложность ситуации, все было бы ничего, если бы не вторяк. Откуда выкопал Дипломат этого детину, подумалось мне, но в то же мгновение, еще ничего не зная, я маякнул: да. С этого момента вся бригада работала на меня, я втыкал. Из-за поворота показалась глазастая морда трамвая, но, прежде чем он должен был подойти к остановке, объясню, что мне предстояло сделать. Думаю, нетрудно представить себе мужчину, у которого поверх кальсон надеты брюки, а в левом кармане лежит упаковка банковских десятирублевков. Горловина кармана застегнута на булавку, а поверх этих брюк надеты еще одни, видно рабочие, и сверху брезентовый комбинезон. Ко всему прочему, он держал пачку электродов в той руке, где лежали деньги, кстати, он их так и держал, пока мы не разошлись.

Как только подошел трамвай, я вместе с этим фраером поднялся и по дороге промацал его, да так нежно, как, наверно, не снимает жених фату в брачную ночь с невесты. А убедившись, что все так и есть, как сказал Дипломат, я стал «работать». Одна лишь мысль, проскользнув, исчезла тут же: где и как Дипломат мог увидеть все, если мы не выпускали друг друга из поля зрения все утро. И впоследствии, где бы мы ни были вместе, я почему-то так и не спросил его об этом.

Никто, по-моему, еще не объяснил тот феномен, что, когда мозг еще только ищет решение той или иной задачи, руки уже произвольно делают то, что в конечном счете и будет единственно правильным решением задачи, которое примет мозг. Так получилось, пожалуй, и в этот раз. Я еще толком даже не мог сообразить, как же я доберусь до этих злосчастных и заветных десятирублевков, но рука моя уже лезла в карман за монетой. Сам я перешел на противоположную сторону от кармана, где лежали эти самые деньги. Затем, достав монету, я отстегнул правую лямку комбинезона, а подол аккуратно опустил. Кореша мои поставили этого фраера так красиво, что он почти не трепыхался, стоял, зажатый со всех сторон, грех было не проявить инициативу и не воспользоваться обстановкой, и я уже весь ушел в «работу», увлекшись ее оригинальностью. Стоял я почти лицом к лицу с фраером, поэтому мне необходимо было быть крайне осторожным, одно мало-мальски неверное движение – и все бы было кончено. Вытянув ладонь и зажав монету между кончиками пальцев, указательным и средним, левой руки, я аккуратно стал срезать пуговицы на ширинке его брюк. А срезав все пуговицы, стал потихоньку просовывать в ширинку пальцы с зажатой на конце монетой, до тех пор пока не дотянулся монетой до левого кармана, вернее, до того, что в нем лежало. Аккуратно сделав надрез вдоль упаковки – настолько, насколько это было возможно, я уже успел ухватиться за кончик упаковки и хотел было уже ее тянуть, как вдруг услышал прямо перед собой: «Да, жарковато сегодня, прямо лето натуральное». Мгновенная реакция вора не заставила себя ждать, я понял, что реплика адресована в мой адрес, ибо по лицу моему пот стекал струями, я на первых порах этого и не заметил, так увлекшись «работой». Но пот мог выдать меня. «Да, – ответил я, уже взяв себя в руки, вытирая ладонью правой руки струйки пота. – Сегодня действительно очень жарко». При этом я даже попробовал улыбнуться. И похоже, это мне неплохо удалось, ибо фраерок успокоился и повернул голову в сторону, давая понять, что больше не желает говорить. Представьте мое положение: левая рука почти до запястья в ширинке у фраера, кончики пальцев этой руки держат упаковку десятирублевков за уголок, а если еще учесть, что половой член у мужчины (прошу прощения за пикантную подробность) – самое чувствительное место, и я, мило улыбаясь этому фраеру, еще и веду с ним какой-никакой диалог, хоть

и короткий, то уверен, картина могла бы показаться более чем впечатляющей, если бы, не дай бог, я спалился.

Теперь мне предстоял самый важный этап моего предприятия – извлечь эту упаковку. Как впоследствии рассказывал Дипломат, только привычка к строгой дисциплине в «работе» удерживала его на месте, ибо он не мог никак понять, что я делаю с правой стороны фраера, когда левая сторона, где лежат деньги, была почти свободна. Рука с электродами была не в счет, ее можно было по ходу хоть на голову ему положить, так у нас все было отработано. Был бы на месте моем старый ширмач, это еще можно было бы как-то объяснить своеобразием почерка, например, или еще чем другим. Но я был, с точки зрения старого крадуна, еще слишком молод, чтобы иметь свой почерк, а тем более опыт в таком тонком деле. Но это только лишь так казалось и думалось Дипломату, на самом же деле он, как и многие другие наши собратья, и не только собратья, но и ярые враги, впоследствии поняли, что, касаясь «работы», со мной нужно считаться. Ведь ни в чем никому не уступил бы, о большем из скромности чисто воровской воздержусь. Но уверен и знаю, что многое где-то было записано и запомнилось как в памяти воровской, так и в мусорских архивах о способностях Заура Золоторучки.

Теснее прижавшись к фраеру, помогая себе коленом правой ноги, я потихоньку стал извлекать эту упаковку наружу. Из разреза, то есть из кармана, она вышла нормально, главное было протащить ее, не задев член, это было самое сложное, ибо, как я ранее упоминал, член – самое чувствительное место у мужчины. Но с этой сложной задачей я вроде справился, а вот чтобы вытащить пачку через ширинку, мне пришлось повозиться и немало поволноваться. Но уже за несколько секунд до остановки я пихал пропаль Дипломату и по ходу прочел такое недоумение у него на лице, что для меня это была лучшая из наград за те труды и нервотрепку, которые я испытал. Даже держа пропаль в руках, он все равно не мог понять, как я утащил деньги. Глядя на мой сморщенный лоб, он пытался осмыслить это.

Пуговицу на комбинезоне я не смог застегнуть, вернее, не стал этого делать, чтобы не рисковать. Как только мы вышли, фраер увидел расстегнутую пуговицу и, застегивая ее, решил на всякий случай проверить содержимое левого кармана. Обнаружив пропажу денег, он стал орать что есть мочи, еще даже не понимая и не веря собственным глазам, каким образом могли пропасть деньги, если все запоры на месте. Он даже хотел все свалить на нечистую силу, пока ему в горотделе не объяснили, что, видимо, «работал» профессиональный карманный вор, хотя и сами они до сих пор ни с чем подобным не сталкивались. И все это при том, что в любом большом и малом городе уголовный розыск имел солидный, если не сказать огромный, опыт работы с карманными ворами. То есть я хочу сказать, что любой писака, а, как я упомянул ранее, их было не так уж и много, имел свой, неподражаемый почерк в работе. Это как отпечатки пальцев. Иными словами говоря, глядя на «работу» писаки, работник уголовного розыска, который непосредственно курировал этих «тонких ценителей оригинального», мог точно определить, кто это сделал, но, конечно, только в том случае, если был знаком с этим человеком, а точнее, с его почерком. А узнал я такие подробности от самого начальника уголовного розыска, вернее, он оговорил их в моем присутствии, но кто я, он не знал. Меня не поймали, нет. В тот день мы больше не «работали». Во-первых, мы никогда не жадничали, это одно из золотых воровских правил, а во-вторых, случай был неординарный, мы знали, что уже через час весь угрозыск Пятигорска будет «на трассе» ловить карманников и искать среди них меня. Так и произошло впоследствии, поэтому по дороге домой мы постарались оповестить по возможности как можно больше коллег о том, что может произойти. Это было тоже одно из неотъемлемых воровских правил. Пока мы не пришли домой, все молчали, но главное, конечно, для меня было мнение Дипломата. Это была личность, о которой, я уверен, стоит рассказать подробнее. Во-первых, потому, что это была личность, а во-вторых, читатель еще не раз прочтет это имя по ходу моего повествования. Леня Дипломат был питерским вором, в большом воровском авторитете. На вид ему было чуть больше пятидесяти, высокий, строй-

ный, всегда подтянутый и аккуратный. Это был джентльмен во всем, кроме одного: он был вором, – может быть, это звучит парадоксально, но верно. Он был всегда серьезный, а иногда и довольно хмурый, и весь его вид давал понять окружающим, что человек этот не склонен к шуткам и сантиментам. И лишь глаза, добрые и мягкие, выдавали его простую и отзывчивую душу. Как-то давно от одного старого вора я услышал такое выражение и запомнил его: «дворянин преступного мира», это он говорил о Дипломате. Родился он в Питере еще до революции в дворянской семье, детство провел среди беспризорников Северной столицы и многих других городов Советского Союза. Родителей своих он помнил хорошо, часто в узком воровском кругу с любовью вспоминал о них, при этом поносил на чем свет стоит советскую власть. На его глазах мать и отца забрали в ЧК, и больше он их никогда не увидел. Так что немудрено, что бродяжничество стало его образом жизни, а воровство – профессией.

Уже в 14 лет он сидел за воровство – да еще умудрился в лагере выколоть глаза надзирателю и зарезать одного ренегата, за что, естественно, получил «довесок». А в 20 лет он был признан безоговорочно всеми ворами вором. Впоследствии, так же как и многие его собратья, он прошел все муки тюремного ада: сучьи войны, подписки, ломки. Прошел, естественно, достойно, но без крайней надобности не любил вспоминать об этом этапе своей жизни. Карманником он был незаурядным, как и все, кто были с ним рядом, так что знали его и почитали не только как урку, но и как ширмача. И надо думать, что мне, пацану, видевшему жизнь лишь сквозь колючую проволоку да чугунную решетку, по большому счету, мнение такого человека было небезразлично. Несколько его слов открывали большое воровское будущее для любого, на ком бы он ни остановил свой выбор. Возможно, схожесть наших судеб и сыграла роль в дальнейших наших отношениях, кто его знает.

Еще некоторое время все обедали молча, пока Дипломат не сказал мне: «Ну что, босяк, может, снизойдешь да поведаешь, как умудрился этот паковал утащить, или тебя придется упрашивать?» Упрашивать меня, конечно, не было нужды, я бы сам уже сто раз все рассказал, если бы не воровская скромность, которая, кстати, была позже отмечена урками. Надо ли говорить, что все время, пока мы оставались в Пятигорске, весь город, а точнее, все крадуны только и говорили об этой покупке. Так что, оставаясь с виду скромным и серьезным, я в душе ликовал. Да и друзья мои были горды за меня, особенно Чует. Сейчас, в наше время, не всегда можно понять поступки, эмоции и всякого рода нюансы людей того времени, но все было именно так. Я уже писал ранее, что начальник уголовного розыска, или его заместитель, или еще кто из них могли смело прийти на любую воровскую хазу, и в этом не было ничего удивительного. Не стал исключением и начальник уголовного розыска Пятигорска. Полковник, уже в преклонном возрасте, седой как лунь, высокий и дородный, но с виду шустрый (все называли его дядя Жора), появился на следующий день на той хазе, где мы притухали, и попросил, если можно, показать ему того Золоторучку, который умудрился так обокрасть человека. Имелось в виду – так красиво обокрасть, ибо как потерпевший, так и сами работники уголовного розыска были буквально ошарашены увиденным. Знакомство с начальником уголовного розыска – палка о двух концах. Первое и самое главное – мент теперь тебя будет знать в лицо, да еще какой мент – вся шпана Пятигорска была о нем очень высокого мнения. Братва знала его порядочность и честность по отношению к представителям преступного мира – настолько, насколько может проявить эти качества начальник угро. Ну а второе – какая может быть менту вера? Хотя и в этом плане понять его было можно, ибо он давал присягу. Все это мне, конечно, объяснили, и естественно, ни о каком знакомстве у меня с ним не могло быть и речи, ну а вот кличка Золоторучка так и осталась за мной на всю оставшуюся жизнь, хотя навряд ли кто-то мог догадаться, откуда она пошла, если бы я сам не написал об этом.

Глава 6

Меня разоблачили близкие

Перед отъездом Дипломат сказал мне: «Будешь в Москве, Заур, найдешь меня, я пока там притухаю, буду всегда рад тебя видеть». На том мы и попрощались. После Пятигорска, поколесив по стране еще несколько месяцев, мы все приехали домой в Махачкалу. Если мать я еще мог как-то обмануть относительно цели столь длительного вояжа, то отец не оставил мне на это никаких шансов, рассказав ей, куда я ездил, с кем и для чего. Да и мой вид выдавал меня. Одет я был как юный денди, сын богатых и уважаемых родителей. На указательном пальце левой руки красовалась увесистая золотая печатка в несколько десятков граммов, на руке были золотые часы с золотым браслетом, на шее висел миниатюрный полумесяц на золотой цепочке (кстати, это был подарок одного самаркандского вора). В общем, все, что было на мне, считалось в то время роскошью. Я уже не говорю, сколько денег было у меня в карманах. Да и тряпья я с собой привез немало. Я и раньше уезжал, но больше недели, ну от силы двух, никогда не задерживался, зная нрав своей матери. Но тогда я всегда умудрялся что-то придумать, как-то скрыть все то, что касалось моей жизни вне дома. Здесь же меня не было целых три месяца, да и, честно говоря, я устал лгать и изворачиваться и решил все как есть рассказать матери, приблизительно догадываясь о последствиях. К сожалению, я не намного ошибся. Звонкая пощечина поставила все точки над «и». Мать приказала забрать все, что я привез, и выгнала меня из дома. Для таких, как я, двери всех блатхат и «малин» были всегда открыты настежь, и я поселился на одной хазе в Новом поселке, тогда это был пригород Махачкалы. Дома я появлялся, когда там не было родителей, исключительно лишь для того, чтобы увидеть или, точнее говоря, показаться бабушке на глаза, которая абсолютно не знала и даже не догадывалась ни о чем, думая, что все в семье нормально, – так я умудрялся разыгрывать перед ней спектакли. Мать, конечно, об этом знала и не препятствовала, понимая, что бабушка не должна знать, чем я занимаюсь. (Забегая вперед, скажу, что, когда в очередной раз я сел, еще долго бабушка была в неведении. Но однажды, выпив лишнего, отец сказал ей: «Твой внук вор, за это и сидит в тюрьме». В тот же день она слегла, а через месяц бабушки не стало. Я узнал об этом много позже, а причину ее смерти понял еще позже, но мать моя не простила отцу эту нечаянную реплику.)

Родителей я теперь почти не видел, иногда только мать – и то издали, и не скучал особо, ибо улица стала для меня главным и единственным домом, засосав в свою трясику.

Надо ли говорить, что за время моих странствий не было такого дня, чтобы я не вспомнил о предмете своей любви. Ее-то мне легко удалось обмануть, когда я предстал перед ней, сжимая в руке миниатюрную коробочку с перстнем – это был мой подарок.

Прямо перед отъездом я окончил автошколу и получил водительские права, правда, учиться я не учился, приходил лишь показаться кому нужно, да и то нечасто, но машину я водил и для своих лет знал ее неплохо, этому уж меня отец поднатаскал. Вот и пришла мне в голову мысль сказать, что, пока я не нашел работу, поехал в рейс с одним знакомым, ну и подзаработал немного. Раньше многие так делали, так что в этом ничего ложного усмотреть было нельзя, да и о какой лжи могла идти речь? Причину моего столь долгого молчания она приняла на веру. Тогда я представил себе дальнейшую жизнь: вот так я приезжаю из рейса, меня встречает любимая жена, а чуть позже – еще и с детишками, я рассказываю ей о трудностях дальнего рейса, нежно обнимаю ее в ночной тиши брачного ложа. Она рассказывает о своих переживаниях и волнениях, связанных с моим долгим отсутствием, о детях, еще о чем-то, и под ее приятный и мелодичный голос я засыпаю. А назавтра все начинается сначала. Все меня в этой семейной идиллии устраивало, за исключением работы. Я ни на минуту не мог представить себя в роли работника, это было выше моих сил, и я тут же отгонял «дурные»

мысли. Какое-то время мы так же безмятежно и счастливо проводили свои воскресные дни. Всю неделю Оля училась, а я воровал, но мне удавалось это скрывать. Главное – я боялся, что мать моя придет и скажет все своей подруге, я даже удивлялся, почему до сих пор она не сделала этого. Я, конечно, не мог тогда понять, что у матери моей и в мыслях не могло возникнуть, что я наберусь наглости и предстану перед самыми близкими мне людьми после родителей в таком качестве. Вот так я жил меж молотом и наковальней. Больше всего Олю беспокоило то, что я перестал заходить к ним домой, я ждал ее теперь всегда неподалеку от дома, в сквере. Я уже не помню, что придумывал в свое оправдание, но не заходил, так как боялся того взгляда, той улыбки, которыми меня с детства одаривала ее мать. Я считал ее своей второй матерью и знал, что солгать я не смогу. Не знаю, на что я надеялся, обложив все самое чистое и светлое, что было в моей жизни, ложью, ведь я знал, что рано или поздно все откроется. Но думать об этом не хотел, отгонял от себя эти мысли и довольствовался настоящим – в общем, был я типичным эгоистом, да еще и, мягко выражаясь, лжецом в придачу. Разве мог человек, имеющий такие пороки, надеяться на ответную любовь? Тогда я этого, видимо, не понимал, да и не хотел понять, иначе бы обратился за помощью к матери, а я избегал ее. Шло время, но ложь все же выходит наружу. Я до сих пор поражаюсь, как я мог пренебречь этим ангелом, отказаться от Оли, которая меня так искренне любила. Каким нужно было быть слепцом, чтобы не разглядеть эту чистую, непорочную душу? Но, к сожалению, жизнь не повернешь вспять.

Каким образом Оля узнала обо всем, для меня и по сей день остается загадкой. Да я и не интересовался этим никогда, зная уже и тогда, что «доброжелателей» всегда хватает в этом мире. Всю неделю она не выходила из дома ни в институт, ни куда бы то ни было еще. С каким нетерпением она ждала воскресенья, я узнал позже. Бедная Сима Семеновна, она боялась потревожить ее даже расспросами, ибо дочь ее прямо на глазах превратилась в красивую статую. Вся надежда у этой бедной женщины была на меня, она даже и не подозревала, что я и был причиной всему. Как только наступило это злосчастное воскресенье, которое я на всю жизнь запомнил с тоской и болью в сердце и которое, можно сказать, и определило мою дальнейшую жизнь, вместо Оли в сквер пришла ее мать. Еще издали мы увидели друг друга, ретироваться было поздно, я понял, что произошло самое худшее, и я пошел несмелой походкой навстречу своей судьбе. Сима Семеновна привела меня к себе домой, зашла вместе со мной в Олину комнату и, оставив меня у дверей, удалилась, тихонько прикрыв за собой дверь. Женщины, как правило, умеют сохранять присутствие духа даже в самые сложные минуты жизни. Оля сидела в кресле почти у самого окна. Как только мать закрыла за собой дверь, она встала, подавив в себе какую-то внутреннюю дрожь, я это даже почувствовал, и, не взглянув на меня, медленно подошла к окну. Видно, эти несколько шагов ей были необходимы для того, чтобы собраться с мыслями после всего пережитого ею. После длительной паузы она повернулась. Мы стояли молча, глядя друг другу в глаза, но ее глаза, как два черных бриллианта, пылали таким гневом, таким пламенем, что, казалось, хотели меня испепелить. В них была и любовь и ненависть одновременно. С гордостью оскорбленной царицы, которая заранее прощает оскорбление, зная, что оно не может ее унижить, она сказала мне: «Заур, несмотря ни на что, я люблю тебя, ты это знаешь, и скрывать это было бы глупостью. Ни в помыслах моих, ни в действиях я никогда не солгала тебе, я всегда руководствовалась своими чувствами, а они, как ты знаешь, были всегда чисты и непорочны. Как же ты мог, ты, в чьих жилах течет столько благородной крови, втоптать в грязь нашу любовь? Как ты мог стать вором? Да еще дарить мне ворованные подарки?» Сорвав перстень с пальца левой руки, она, видно, хотела швырнуть его в меня, но затем в замешательстве зажала его так крепко в ладони, что вены взбухли на тыльной ее части, и уже в следующий момент она взяла себя в руки, подошла ко мне и, раскрыв ладонь, медленно подняла голову. Глаза ее, еще несколько минут назад пылавшие огнем, были полны слез. Я был потрясен тем, что произошло, и не мог найти слов в свое оправдание и вообще не знал, что предпринять. Как я очутился на улице и как добрал до места, где жил, сейчас уже не помню.

Если бы в бригаде во время «работы» не было бы столь строгих правил, которые запрещали любой кайф, я бы, наверно, либо спился, либо стал наркоманом.

Шло время, а с ним и таяли надежды на то, что наши отношения когда-нибудь возобновятся. Мне уже стало невмоготу жить в одном городе с ней. Как только я оставался один, меня тут же тянуло к дому, где жила Ольга.

Иногда я по несколько раз в день проезжал мимо ее дома в надежде просто увидеть ее издали, часами прятался возле института и провожал ее глазами, находясь на расстоянии. В общем, я сходил с ума, замкнулся в себе и почти ни с кем не разговаривал. Естественно, так долго продолжаться не могло, и я решил уехать. Несколько дней я раздумывал, написать ей письмо или пойти проститься, и все же не мог собраться с духом, вновь увидеть ее глаза было выше моих сил. Я решил написать ей, ну а текст этого письма, запечатлелся в моей памяти на всю жизнь. Вот оно:

«Мой милый и нежный ангел, любовь моя, здравствуй! Всевышнему, видно, было угодно преподнести мне одно из ангельских своих созданий и зажечь пламень в моем сердце, чтобы затем ввергнуть меня в бездну мук и страданий. Но я не ропщу. Бог всегда знает, что делает, он всегда прав. В жизни моей, даже в детстве и юности, мне ничего не давалось просто так, за все всегда приходилось бороться, сейчас же я опускаю руки, ибо знаю заранее, что потерплю фиаско. Однажды ступив на стезю, по которой я теперь иду, свернуть с нее не могу, это выше моих сил, ну а коль я должен сделать выбор между моим образом жизни и тобой, я выбираю первое. Прости, если можешь, меня за это, ведь я не должен был лгать тебе, но, к сожалению, влюбленные все эгоисты. Думаю, пройдет время, ты поймешь меня и не осудишь. Хочу сказать тебе на прощание, что никогда и никто не будет любить тебя так, как любил тебя я. Когда ты будешь читать эти строки, я уже буду далеко от тебя, но где бы я ни был, если нужна будет моя помощь, я брошу все и приеду. А пока прощай, всех благ тебе земных. Заур».

Написав это послание, я в тот же вечер бросил его в почтовый ящик, который висел у них на воротах, а уже ночью, лежа на верхней полке в купе спального вагона Махачкала-Москва и глядя в ночную мглу, представлял, как утром Оля будет читать мои прощальные строки и, конечно, будет плакать.

Тот, кто лишился сокровища, поступит неразумно, если обернется, чтобы еще раз посмотреть на него.

Часть VI

Моя напарница Ляля

*Как нужна для жемчужины полная тьма,
Так страдания нужны для души и ума.
Ты лишился всего и душа опустела?
Эта чаша наполнится снова сама!*

Хайям

Глава 1

Я в Москве

Мы ничего не знаем. Мы считаем себя хозяевами своей жизни. Нам кажется, что мы управляем своей судьбой. Но у каждого удара колокола свое значение на небесах...

Первопрестольная встретила меня морем огней и проливным дождем. Сидя на заднем сиденье такси, я смотрел сквозь пелену запотевших стекол на город, и мне почему-то вспомнилось древнее поверье: во время свадьбы дождь – к долгой и счастливой жизни. Интересно, подумал я, какую жизнь готовит мне судьба-злодейка с красавицей невестой, имя которой Москва. Мне кажется, что тот, кто однажды посетит этот город, долго не захочет с ним расстаться, если только крайняя необходимость не заставит это сделать. Москва во все времена манила и манит к себе всех: авантюристов разного пошиба, студентов и бродяг, артистов и воров. И с уверенностью могу сказать, что на одной шестой части суши второго такого города нет. Первая заповедь «артиста на гастролях», прибывшего в незнакомый город, – найти крышу над головой, но об этом-то как раз я мог не беспокоиться. Уж друзья-то у меня здесь были, да еще какие – каждого из них я мог смело назвать братом. Но не только друзья жили в Москве, здесь жил отец моей матери, мой дед. Знал я и адрес: Арбат, 25, это угол Староконюшенного переулка и Арбата. Звали его Гусейнов Аббас-Али, по профессии был он дамский парикмахер, и, к слову сказать, очень даже неплохой. Навряд ли моя бабушка выжила бы в той далекой и дикой провинции, коей считалась Махачкала того времени, если бы на пути ей не встретился молодой, красивый и богатый турок. Целый квартал на Буйнакской улице в Махачкале, от кинотеатра «Дружба» до гостиницы «Каспий», был его собственностью. На одной стороне улицы делали зеркала, на другой – фаэтоны. Любил он бабушку безумно, признаться, ее было за что любить, а когда они поженились, появилась на свет моя мать. Но дед был, оказывается, страшный бабник, чего бабушка простить ему не могла. И после его очередного романа она выгнала его из дома или сама ушла, точно не знаю. Так что мою мать воспитывала она одна, без чьей-либо помощи. Правда, когда революция добралась до Дагестана, у него все конфисковали, а сам он еле унес ноги. И как ни странно, устроился в Москве. Но, надо отдать ему должное, пока училась моя мать, сначала в техникуме, а затем и в институте, он помогал ей чем мог. Все это я знал, конечно, и раньше, все-таки какой-никакой, а семейный архив у нас был, а это всегда свято. Так вот, когда я пришел домой перед отъездом попрощаться с бабушкой, я сказал, что еду учиться в Москву. Она написала письмо своему бывшему мужу и дала мне его адрес. Письмо это находилось при мне, но я не собирался тут же разыскивать деда, так как бабушка сказала, чтобы я обратился к нему только в случае крайней необходимости. Я не знаю, чем руководствовалась бабушка, говоря мне это, возможно, чрезмерной гордостью

своей, возможно, чем-то еще. Но мне и в голову не приходило послушаться ее, так глубоко я чтил и уважал ее. Естественно, я не знал, что было написано в письме, но догадывался.

Так что таксисту я дал Женькин адрес и уже через полчаса вышел из такси недалеко от метро «Бауманская», а еще через десять минут оказался в братских объятиях своего друга. После освобождения я, естественно, поддерживал постоянную связь с друзьями. А здесь вот свалился как снег на голову, да и, честно сказать, до самого последнего момента и сам не знал, что предприму первым делом в Москве. Лишь только резкая смена обстановки да мерный стук колес поезда внесли некоторую ясность. Но в принципе предупреждать было и необязательно, главное – кореш мой был дома, ну а здесь я был всегда желанным гостем. Всю ночь напролет мы проговорили, даже не заметив, как наступило утро. Наконец-то я выговорился, и от этого на душе стало легче, ибо Женька был тогда первым и единственным человеком, которому я рассказал обо всем, что накопилось у меня на душе. Под утро приехал отец Жени, был он, как я упоминал ранее, в полноте, а потому и знал все воровские новости столицы, которые обязан знать уркаган. Он долго расспрашивал меня, в основном, конечно, о наших тюремных злоключениях, при этом хитровато шурился, как бы сверяя про себя рассказ своего сына с моим. Но сомневаться ему не приходилось, так как мы уже давно были научены жизнью и воровская честность была для нас свята. Ну а когда мы имели дело с уркагами, то тем более хорошенько думали, прежде чем ответить на тот или иной вопрос. Знал он, естественно, и где живет Дипломат и обещал на днях свозить к нему. А пока мы втроем предавались беззаботному времяпрепровождению, друзья мои знакомили меня с Москвой. Забыл сказать, что, пока я спал днем, Женя сбегал к Харитоше, и встреча с ним была не менее радостной, чем с Женей. Целыми днями мы мотались по городу, здесь мне все было интересно, я сразу полюбил Москву, и она, забегая вперед скажу, платила мне всегда взаимностью. А прожил я в Москве, к слову сказать, совсем не мало лет, суммируя разные отрезки моего жизненного пути. А с Дипломатом, как ни странно, я встретился сам, вернее, случай свел нас. Через день после того, как я познакомился с отцом Жени, он уехал куда-то, пообещав, что скоро вернется и выполнит свое обещание. А пока посоветовал получше познакомиться с городом, что я и делал, совмещая приятное с полезным. В тот день мы шныряли возле «Ударника», и «труды» наши не были напрасны. Большое кожаное портмоне, которое Харитон сумел стащить, с крупным содержанием было нам очень кстати. Когда мы, перейдя через мостик, остановились возле поплавок «Буревестник» (так он тогда назывался), который был пришвартован тут же рядом с мостом, то решили отметить удачу. Музыканты да и почти вся обслуга здесь были цыгане. Московская шпана считала «Буревестник» лучшим местом для отдыха, частенько впоследствии заглядывал сюда и я.

Засовывая в карман брюк свою долю краденого, которую мне протянул Валера, я вдруг увидел Дипломата под ручку с очень красивой и элегантной женщиной – они направлялись к стоявшему тут же «ЗИМу». Дама уже скрылась в салоне машины, а Леня занес было ногу, чтобы сесть рядом, когда я стремглав бросился к нему. Он был искренне рад нашей встрече, мы по-братски обнялись, и я, торопясь, стал рассказывать ему, что уже больше месяца в Москве. Он перебил меня и тоном, не терпящим возражений, сказал, чтобы я располагался сзади, – здесь не место для разговоров, сам же сел впереди. Не успела машина тронуться, как я в двух словах объяснил, что не один. Мгновения мне хватило, чтобы перекинуться со своими корешами парой-тройкой слов, и уже в следующую минуту «ЗИМ» рассекал жижу грязи, смешанную со снегом. Поначалу я был ошарашен, когда, проехав немного, Леня, обернувшись к нам вполоборота, сказал даме, что сидела рядом со мной: «Это и есть тот Золоторучка, о котором я вам рассказывал, знакомьтесь». Как же тут было не прийти в замешательство, ведь рядом со мной сидела истинная леди, по крайней мере, мне так показалось. Она была действительно похожа на герцогиню, возвращающуюся с бала, ну а учитывая представления о женщинах провинциального вора, каким я был в то время, думаю, можно понять мой восторг, равно как

и замешательство. Но леди, несколько не удивившись, а скорее, наоборот, грациозно повернула ко мне голову, одарив меня при этом ангельской улыбкой, протянула руку и будто пропела: «Ляля». Я от неожиданности поцеловал протянутую руку, тут же вспомнив уроки моей бабушки, и ответил: «Очень приятно, Заур». – «Глянь, Дипломат, а ведь он еще и джентльмен», – услышал я мелодичный голос Ляли, но в следующую секунду Дипломат разразился громким смехом. Я еще даже не успел понять, что же произошло, как Дипломат тут же стал серьезным и сказал мне: «Не обижайся, бродяга, просто я вижу, ты во всем большой оригинал, а церемонии эти сейчас не встретишь даже в самых высших кругах. Ну да ладно. Если будет на то нужда, цапки у дам будешь на работе лобызать, а здесь расслабься, ведь это наша Ляля». А «нашей» оказалась уже тогда знаменитая на всю Москву карманница Ляля (Цыганка). Пытаясь быть объективным и несколько при этом не умаляя своих способностей, хочу сказать, что у кого и были золотые руки, так это у нашей Ляли. Своих родителей она не знала и, сколько помнила себя, росла среди цыган, пока табор не пришел в Самарканд. Там, шныряя по Регистану, и встретила она с урками-ширмачами, с ними и осталась. Способности к воровству у нее были действительно незаурядные. Гастролируя по стране с ворами, она порой показывала чудеса ловкости, ну и воры тоже учили ее всему, что должна знать, как должна выглядеть, как вести себя юная леди. Вот почему, увидев ее впервые, я несколько не усомнился в том, что передо мною дама из высшего общества. На тот момент, когда мы познакомились, ей было где-то около тридцати. В воровском братстве она жила больше десяти лет и была всеобщей любимицей. Но ее ценили и уважали не только потому, что она была необыкновенной красавицей, но и за поступки. Первый и последний раз в жизни она полюбила одного молодого уркагана. Однажды после неудачного скачка на хату одного жирного бобра его подстрелили в побеге. Он, возможно бы, и выжил, если бы не легавый, который гнался за ним. Увидев, что человек лежит раненый и не может уже оказать никакого сопротивления, он сказал: «Пусть лучше умрет, тогда на одного будет меньше» – и добил его выстрелом в голову. На могиле любимого Ляля поклялась, что отомстит, и действительно выполнила свое обещание. Узнав, где работает этот мент, она прокралась к нему в кабинет. Учитывая ее внешние данные, ей это не составило особого труда, и, приблизившись к менту на вытянутую руку, сказала, зачем пришла, и, не дав тому опомниться, выдавила пальцами ему оба глаза. Из десяти лет, которые ей дали, она отсидела три, но воры не оставили ее в беде. Не один год впоследствии мы с Лялей заставляли изумляться уголовный розыск как Москвы, так и всей страны в целом. Я всегда уважал и любил ее как друга и как сестру, она платила мне тем же, но судьба, к сожалению, не была к ней благосклонна. Она умерла в мордовском лагере в Потьме, на станции Явас, одиннадцать лет спустя. Я же в то время находился в одном из лагерей Коми АССР.

Вот какая дама сидела рядом со мною на заднем сиденье «ЗИМа» и мило, дружески улыбалась мне. Мы ехали довольно долго, наконец машина остановилась у дома, где-то на окраине Москвы. Я помог Ляле выйти из машины, и мы пошли к дому, Леня, о чем-то перекинувшись с водителем, нагнал нас почти у самой калитки. А «ЗИМ» мгновенно растаял в ночи, шофер даже не включал фары дальнего света. С волчьим остервенением лаяла собака, готовая сорваться с цепи, до тех пор пока мы не вошли во двор. При виде Ляли и Дипломата она замолчала, но на всякий случай оскалилась на меня и спряталась в своей будке. Мы вошли в дом. Огромная комната была залита ярким светом, исходившим от громадной люстры, висевшей прямо над столом посередине комнаты. В дальнем углу в печи, приятно потрескивая, горели дрова, отчего в комнате было жарко. Прямо перед нами, на диване, сидел дедушка в очках, с газетой в руке, а справа, недалеко от печки, небрежно облокотясь на стул, сидел парень приятной наружности, он увлеченно смотрел «КВН» на маленьком экране. При нашем появлении дедушка отложил в сторону газету и вперился в нас, а точнее, в меня пронзительный взгляд, парень же встал и, подойдя вразвалочку, протянул мне руку для знакомства. «Паша», – представился он, внимательно глядя прямо мне в глаза. «Заур», – ответил я, ни на мгновение не

отводя взгляд в сторону, и пожал ему руку. Затем подошел к дедушке, поздоровался с ним. Дедушкой оказался Гена (Карандаш) – живая легенда воровского мира. Что касается парня, то это был Паша Захар (Сухумский), который в преступном мире стал известен чуть позже как Паша Цируль. Много о чем мы переговорили в этот вечер. В конце разговора я понял, что все единодушно готовы принять меня в свою семью. На завтра я переехал к ним на хазу, и воспитанием моим занялась Ляля. Да, это было время, которое трудно забыть. Я уже писал, что иметь незаурядные способности было недостаточно, для того чтобы тебя уважали и почитали. Я знаю бригаду карманников, лагерных педерастов, крали они не хуже других, и, естественно, никто их не обижал, они даже приезжали в лагерь к своим собратьям и грели их. Но этих карманников не уважали. Так что не имей я свое хоть и короткое еще, но все же достойное прошлое, никогда бы мне не быть вместе с урками. С этим всегда было строго, и ранее в главах, касающихся воровской темы, я писал почему. Если в родной вотчине меня считали чуть ли не «денди-кошелечник-универсал», то здесь, в Москве, Ляля ясно дала мне понять, что я самый натуральный провинциальный лапотник, хотя и способный ширмач. Я говорил, что многому мы научились у воров как на свердловской пересылке, так и в ростовской тюрьме, да и на свободе я постоянно общался с урками, насколько это было у нас возможно. Но оказалось, что всех моих знаний еще недостаточно для «чистодела». Вот какие нормы определяли человека, о котором могли сказать в любом кругу заслуженных воров – это карманник по большому счету. И тогда все без исключения могли это признать. Карманник должен был уметь идеально владеть собой, особенно мимикой лица, знать язык жеста и взглядов, должен был уметь импровизировать, как заправский артист, чтобы в случае чего выйти из неблагоприятной ситуации. Он должен был обладать интеллектом и эрудицией и еще одним важным качеством – умением вести разговор. И все это не считая твоих незаурядных способностей вора. Я думаю, нетрудно догадаться, что приобрести и усвоить эту науку можно было только с годами, да и то при постоянной практике.

Глава 2

Моя «работа» с Лялей

Бригады ширмачей были разные, одна сколачивалась только для поездки на «гастроли», другие крали годами вместе, пока тюрьма или смерть не разлучала их. Так же и мы несколько лет «работали» вместе, пока нас не разлучила тюрьма, а впоследствии и смерть некоторых из нас. Немало интересных, а порой и курьезных случаев произошло у нас за это время; думаю, читателю будет интересно узнать подробней о некоторых из них.

Однажды после трудов наших «праведных» по дороге домой мы заехали в гостиницу «Националь». К тому времени я уже смело мог считать себя универсалом, таким, какими были мы все, недаром блатная Москва того времени знала нас, равно как и уважала. Конечно, в этом была большая заслуга наших уроков, но и способности каждого из нас были признаны безоговорочно всеми.

Карандаш с Дипломатом зашли внутрь, а мы вчетвером остались сидеть в машине. В то время гардеробщиком в гостинице работал Пантелей (Деревяшка). Сидели они с Карандашом где-то еще при нэпе. Говорили, что в свое время Пантелей был в авторитете, но потом началась война, он попал в штрафной батальон и в атаке потерял ногу, с тех пор он костылял на деревянной, отсюда и такое прозвище. Как инвалида войны, его устроили работать в «Националь», куда и простых-то смертных брали с трудом, и то после ста проверок. Отсюда шпана сделала вывод, что пашет Деревяшка на Комитет. Но Комитет была контора серьезная, к преступному миру почти не имела никакого отношения, да и босоту Деревяшка по ходу никого и никогда не сдавал. По крайней мере, базару такого не было, ну и шпана делала вид, что ничего не знает и ни о чем не догадывается. Фарцевал понемногу Деревяшка, да сигаретками импортными приторговывал – в общем, на нынешний манер был центровой барыгой. Кстати, в то время

почти в любой аптеке можно было купить морфий, а вот сигарет импортных, таких как «Филип Моррис», в пластмассовой упаковке, «Кэмел» и прочие, кроме как у барыг, взять было негде, да и то не у каждого. Потому и отоваривались мы постоянно сигаретами у Деревяшки, как, впрочем, и многие урки в Москве.

Стояла тихая, морозная и безветренная погода. В машине же было тепло и уютно. Мы сидели с Лялей на заднем сиденье и о чем-то спорили, а Цируль с водилой впереди, все мы созерцали величественный фасад «Националя», как вдруг рядом заскрипел снег под колесами подъехавшей машины. А еще через минуту Паша, повернувшись к нам, произнес: «Гляньте-ка, какого фраерка фильдеперсового занесло к нам как на подносе». Протерев запотевшее стекло, мы увидели иномарку и слегка согнувшегося, франтовато одетого мужчину, пытавшегося найти замочную скважину в двери машины. Но наше внимание, естественно, привлекло не это. Верх и клифт (одежда) у фраера были не в порядке, а, судя по прикиду, он должен был быть «жирным». Успев только цинкануть Паше, что «работаем», мы выскочили с Лялей из машины с разных сторон, чтобы нас не было видно. И уже в следующую минуту по тротуару в сторону, противоположную нашей машине, шел прилично одетый слепой мужчина, с тростью в руке, под руку с элегантной молодой женщиной. В то время, да и позже, мне иногда приходилось «работать» слепым, поэтому я постоянно носил в чердаке очки с черными и круглыми стеклами, а раздвижная трость была в дурке у Ляли. Поравнявшись с фраером, я, поскользнувшись, упал на тротуар в снег, а Ляля сразу стала звать на помощь, грациозно разводя руками, ибо я на некоторое время «потерял сознание». Почти одновременно фраер и выскочивший из машины Цируль оказались рядом и помогли мне прийти в себя и подняться на ноги, что я проделал с неохотой, медленно, больше опираясь на широкие плечи джентльмена. А уже в следующее мгновение я благодарил их обоих, нервно теребя дужки очков, водружая их на нос. Ляля же, взяв меня вновь под руку, слегка журила за неуклюжесть, сбивая с меня снег. Я видел, как фраер поедал Лялю глазами, но и Ляля, оценив обстановку, ибо фраерок был чуть навеселе, грациозно, с редким достоинством, приличествующим испанской королеве, повернув голову, поблагодарила его и, протянув руку, разрешила ему поцеловать ее. Фраерок был в шоке, а я, кстати, дал понять Ляле, чтобы она не переиграла, я знал ее спектакли, которые она разыгрывала перед такого рода фраерами. Сейчас был другой случай, фраер уже был голый, и нам нужно было сваливать. Сделав несколько шагов, мы услышали хорошо знакомый нам звук взревшего двигателя нашего «ЗИМа» и, убедившись, что фраер уже не видит нас, мгновенно юркнули в машину. Паша же, наоборот, выпрыгнув из нее, остался ждать Дипломата и Карандаша, чтобы они не искали нас. Конечно, на все про все у нас ушла пара минут, а еще через какое-то время мы уже все вместе мчались по вечерней Москве, раскладывая содержимое карманов незадачливого джентльмена на заднем сиденье автомобиля, которое действительно оказалось «жирным». В то время, когда мы с Лялей торговали у этого фраера скулу (карман) его клифта, Цируль в придачу снял с его цапки котел (часы), в общем, как сейчас помню, покупка была гарная. Но вот что было дальше, а точнее, весь расклад, связанный с этой покупкой, по большому счету, я узнал лишь пять лет спустя, в 1974 году, когда был принят в Петровском пассаже опергруппой, которую водила легавая, майор, по фамилии Грач. Мы были старые знакомые, и она же мне и обрисовала весь расклад, который уже давно не был секретом в МУРе.

По содержимому портмоне сразу стало ясно, что фраер залетный, из какой-то англоязычной страны, уже не помню, по каким приметам мы это определили. Но то, что он окажется агентом, нам не могло присниться даже в самом страшном сне. Хорошо еще, что, взяв деньги и часы, Ляля куда-то засовала это злосчастное портмоне, уж больно оно ей понравилось, может, кому-то подарить решила. А знаю, факт, что на следующий день вся блатная Москва была в движении, а МУР искал «слепого втыкалу» с «бубновой дамой», чтобы сделать возврат. Ну и возврат, естественно, был сделан, как и положено, кроме денег и часов, а они вроде и не нужны были, о них никто и не вспомнил.

Вот что произошло на самом деле, как мне рассказала в МУРе майор Грач (имени, отчества, к сожалению, не помню).

На хвосте у этого типа плотно сидел Комитет. В тот день они, видно, решили взять его в гостинице и взяли в номере, но портмоне при нем не оказалось. А предмет интереса КГБ находился, видно, именно там. Но ни я, ни кто другой из тех наших, кто остался в живых, до сих пор не знает, что там было. В общем, как бывает в таких случаях, узнав все, что им было надо от задержанного, а как мог быстро узнавать КГБ то, что им нужно, я не буду писать, чекисты стали, видно, прокручивать все события поминутно. И как раз те несколько минут, что они стояли у светофора, а затем заворачивали за угол, объект их наблюдений был вне поля зрения. Именно этих нескольких минут хватило нам с Лялей и Цирулем, чтобы выставить этого фраера и исчезнуть. КГБ в то время боялись, и перед ним дрожали почти все. МВД тем более не было исключением. Уже ночью, когда все стало ясно, подняли с постели министра, он дал свои распоряжения, и где-то кто-то собрался на экстренное совещание. В общем, уже к утру из МУРа пришло сообщение на улицы Москвы с просьбой о возврате портмоне, иначе последуют крутые меры, если ширмачи проигнорируют просьбу конторских. Я уже писал ранее, в каких отношениях был в то время уголовный розыск с преступным миром, то есть по возможности старались помочь друг другу, если это было необходимо, но, естественно, в хорошем смысле слова. Вот почему после возврата портмоне нас никто не трогал, честно сказать, мы даже и не предполагали, что в МУРе знают, как и кто его украл. И лишь пять лет спустя я узнал об этом случайно. А еще через 20 лет, в 1994 году, когда я отдыхал у Цируля на даче в Подмосковье, Паша показал мне газету, которая чуть ли не вся была посвящена его особе, он даже шутил на этот счет. В то время власти были зациклены на держателе российского воровского общака Паше (Цируле), в этой газете я и прочитал о себе как о непосредственном участнике этой кражи. Только, видно, информацию эту журналист черпал явно не из архивов МВД, так как там было написано следующее: «Один из действующих лиц этого спектакля Зугумов Заур, по кличке Золоторучка, был застрелен при попытке побега где-то в тайге Коми АССР в 1975 году». Да, действительно, в том году я был в побеге в Коми, за что и получил небольшой доверок к сроку – один год, да и потрепали нас здорово, но, к счастью, не убили, подтверждением чему может служить эта книга. Я даже хотел написать в редакцию этому журналисту, думал «обрадовать» его, но, к сожалению, вскорости сел, кстати тут же следом за Пашей. И уж никак не мог ожидать, что больше мы с ним никогда не увидимся. Он упокоился в Лефортове 10 или 12 марта, точно не помню, потому что ровно через год, находясь в Бутырках в качестве положенца в «аппендиците», я отмечал с босотой моего корпуса годовщину смерти двух воров – Паши (Цируля) и Гриши (Серебряного). У одного она была 10, а у другого – 12 марта, я решил объединить обе даты. Ведь Бутырки – это не то место, где каждый день можно отмечать подобные мероприятия, вот потому я и запомнил. Но это не столь важно, главное – людская память. Как я писал ранее, Москва того времени была не только столицей нашей Родины. Москва была, да и остается по сей день, воровской столицей России. В наше время, не побоюсь сказать, многие чиновники как аппарата правительства, так и силовых ведомств стараются создать в стране как бы искусственный хаос и неразбериху, сталкивая отдельные мафиозные структуры и всякого рода сброд. А задумывался ли кто-нибудь из среды аналитиков, я имею в виду тех, кто искренне переживает за нашу страну, откуда взялись эти самые сообщества рэкетиров и бандитов, наркоманов и насильников? Почему раньше ни преступный мир, ни сама милиция, я больше чем уверен, и представить себе не могли, что в нашей стране может быть что-то подобное, называемое сейчас модным словом «демократия». А демократия в России – это беспредел. Зачем и для чего сеять смуту, это ясно – где, как не в мутной воде, легче рыбка ловится. А вот климат, благоприятствующий беспределу, создали сами правящие, руководящие чиновники силовых структур, уничтожая воров либо при помощи интриг, либо отстреливая их. А ведь они-то никогда не допустили бы беспредела, творимого сейчас не только за

колючей проволокой, но и вокруг нас. В последние годы Россия стала почти сплошным преступным миром, исключая, конечно, стариков и детей, ну и еще, пожалуй, немногих честных людей, которые еще остались здесь. А во времена тоталитаризма, как принято сейчас говорить, какие бы деспоты ни стояли у власти, они прекрасно понимали, что любая смута и последующий за ней хаос приведут страну к развалу, то есть еще к одной революции. А откуда берется брожение умов и затем открытое противостояние, они прекрасно понимали. С одной стороны, это почти гении – диссиденты. Кого-то из них высылали, а кого-то изолировали плотным кольцом ренегатов и колючей проволокой. А с другой стороны – элита преступного мира, воры в законе. Возможно, некоторые из читателей будут склонны думать, что я несколько субъективен и поэтому пытаюсь возвеличить до государственного уровня значение этого клана, игравшего иногда очень важную роль в жизни нашей страны. Что же, могу привести несколько примеров.

Прежде чем открылся фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году, высшими чиновниками из МВД было принято решение обратиться именно к ворами. Это обращение письменным, конечно, не было, но в нем говорилось следующее: «Преступный мир, наравне с другими слоями общества, должен показать всему миру нашу единую сплоченность. Пусть это преступный мир, но он наш, советский, а отсюда следует, что он должен быть на высоте». Звучит, конечно, парадоксально, не правда ли, но смею вас уверить, что за время фестиваля не было, по большому счету, зарегистрировано ни одного преступления. Только несколько карманных краж, да и то они на совести залетных ширмачей. Скептики, кому доступен архив МВД, могут туда заглянуть, я же это знаю наверняка. Да что там говорить. Несколько слов, обращенных урками к преступному миру, могут парализовать нормальный уклад жизни не только такого мегаполиса, коим является Мосьсва, но и страны в целом. Обо всем этом коммунисты прекрасно знали, а потому урок боялись, считались, а по мере надобности и частично уничтожали в крытых тюрьмах и дальних лагерях, но ни в коем случае не истребляли под корень. А сила воровская была в незыблемости законов, в строгом их соблюдении и в братстве воровском. Приведу еще такой пример. В 60-х годах, преимущественно о которых я сейчас пишу, был такой вор Юра (Монгол). Кстати, как я говорил ранее, он представлял на воровской сходке Славу (Япончика), и с его легкой руки Япончика окрестили. Монгол же был в большом авторитете среди урок Союза, был хорошим домушником, прекрасным организатором, «третьими» ему вообще равных не было, насколько я помню. По крайней мере, те, кто приезжал играть с ним, уезжали из Москвы в замаске. Так вот, иногда Монгол позволял себе выходки, мягко выражаясь идущие вразрез с воровскими этикой и моралью. Старые урки часто были недовольны его действиями, а жаловались на него многие. В частности, было несколько таких дел, когда Монгол с дружкой, помимо обычных бобров, выставили крадунов в милицейской форме. Те умудрились весь день возить в гробу по Москве Фатиму-татарку, требуя у нее деньги. Пока не поймали ее красавицу дочь, деньги она им не отдавала. Фатима была самой центральной барыгой в Москве, банковала лекарством, деньги же, которые ей пришлось отдать, были из разных воровских московских бригад, собранных на лекарства. Такие вещи никому не прощают, в общем, оставили Монгола не вором. А это значит, что никогда ему уже быть им не суждено. Я одно время сидел с ним в Бутырках в 1974 году, а вот с подельником его Жлобой, отдыхал в одной камере. О многом мне, конечно, приходится умалчивать – не только в этом эпизоде, но и в воровской теме вообще, дабы не давать карты в руки тому, кто играет не по правилам или вообще не знает никаких правил. Просто хочу еще раз сказать, как всегда уважали закон воровского братства сами урки. И таких примеров я мог бы привести множество, но, думаю, ни к чему беречь на воровском теле кровотокающие раны.

Глава 3 Воровской трюк

Со всех регионов страны люди, обладающие тем или иным талантом, устремлялись в Москву, и здесь, если столица их принимала, точнее, признавала, в скором времени их уже знали, уважали и любили. То же самое можно было отнести и к ворам того времени. Во-первых, немного возвращаясь назад, напомним, что, где бы ни крестили урку, он отвечал за этот регион перед ворами. А потому надолго оставить его не мог. Но в Москве он обязан был побывать, так как почти вся воровская элита Союза находилась здесь. Если же тот регион, где был сделан подход к юному уркагану, был насыщен ворами (а это в основном Грузия), то урка ехал в Москву для знакомства или на сходняк, на котором решалось, в какое место его следует направить, где от него будет больше пользы. И лишь немногие надолго обосновывались здесь, Москва становилась для них вторым домом, если можно назвать домом весь город. Вообще, у воров нет и не может быть понятия «свой дом», дом воровской – тюрьма. Воровская элита, которая жила в столице, была известна всем как в преступном мире страны, так и в правовых ее органах. Одним же из ключевых органов правосудия был МУР, который играл главную роль в жизни преступного мира столицы. С этой конторой никто и никогда не шутил, а к представителям ее относились серьезно все без исключения. И когда однажды меня предупредили муровцы, чтобы я уехал из Москвы (а это было тоже одной из примет того времени – предупреждать, прежде чем сажать), то я покинул ее тут же. Но ведь ни за что ни про что не выгоняют, а признаться, у МУРа были на то веские причины, об этом речь пойдет впереди, да и выгоняли они не одного меня, а вместе с Лялей.

Дипломат с Карандашом сидели уже почти год. Взяли их в Питере, на Московском вокзале, сразу после сходняка. Им инкриминировали сопротивление властям и нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции. Дали обоим по восемь лет. Обычно, если сходняк был не в Москве, а в другом городе, мы ездили туда все вместе, а после его окончания также все вместе возвращались домой. На этот раз такой особой необходимости не было, мы нужны были больше в Москве, так как Паша лежал в больнице с двухсторонним воспалением легких и к тому же был в очень тяжелом состоянии. Кроме нас, у него не было никого, так что Ляля почти не отходила от его постели, круглосуточно дежуря в больнице. А я улаживал все остальные дела, связанные с нашей жизнью. Вскоре мы получили письмо от наших корешей из Иркутска (Ангарлаг), и когда Паша выздоровел, то, подсобрав немного денег, мы поехали к ним на свидание в Иркутск. Лагерь находился прямо в устье Ангары, где она впадает в озеро Байкал. Места там до того живописные и красивые, что мы после всех наших дел, связанных с корешами из Ангарлага, решили несколько деньков отдохнуть, но, к сожалению, провести там больше двух дней нам не удалось. Нас, можно сказать, выпроводили, хорошо еще Ляля была с нами. Она все шутила на этот счет да сыпала восточными стихотворными наставлениями типа: «В мире временном, сущность которого тлен, не сдавайся вещам несущественным в плен. Сущим в мире считай только дух вездесущий, чуждый всяких вещественных перемен».

Но с тех пор как мы были там, прошло уже почти полгода. Мы знали, что Дипломата и Карандаша отправили оттуда, а вот куда, не знали, все ждали письма. В то время жили мы уже в Москве, в Текстильщиках, во 2-м Саратовском проезде, снимали полностью трехкомнатную квартиру. На тот момент, о котором пойдет речь, Паша уехал по срочным делам домой, в Сухуми. Уже не помню, что-то у него там было важное и срочное, потому что за ним приехали ребята. Но свои двойные координаты он на всякий случай оставил. Мы же с Лялей остались вдвоем. Скучать нам не приходилось. Целый день у нас уходил на дела, а вечера мы проводили обычно в каком-нибудь из центральных ресторанов столицы. Нас все там знали, начиная от

гардеробщика и кончая посудомойкой. Людям и с более благородной профессией такие знакомства были всегда нужны, нам же тем более.

В один из морозных декабрьских дней мы сидели за столиком у окна в ресторане «Пекин». Видно было, как за окном, огромным и запотевшим, шел крупный пушистый снег. Почти непрерывно подъезжали и отъезжали машины от главного входа в гостиницу, рыхля черный вперемешку с грязью лед. Здесь же, в зале ресторана, было тепло и уютно. Мы с Лялей сидели друг против друга, наслаждаясь терпким ароматом какого-то заморского вина, слушали музыку и вели неторопливую беседу. Тема, как правило, была одна и та же: как побольше украсть, и так, чтобы не попасться. В какой-то момент музыка стихла, послышались редкие аплодисменты, а затем погас свет, но официанты тут же стали разносить канделябры со свечами, на наш столик также поставили канделябр и зажгли свечи. Некоторое время все сидели в тишине, слышно было только, как потрескивают свечи. И вдруг послышалась затейливая восточная мелодия и началось представление в самом центре зала. Маленький китайчонок прыгал в горящий обруч, утыканный ножами, который держала красивая узкоглазая ассистентка в зеленом халате с золотыми драконами на спине. Испуганные и в то же время восторженные возгласы дам и их кавалеров говорили о том, что зрелище нравится публике. Мой же взгляд был устремлен на Лялю. Как она была хороша! Я и любил эти вечера в ресторане, потому что мог вот так, сидя напротив нее, открыто наслаждаться ее красотой. Ляля знала себе цену, знала и то, что я люблю ее, но, главное, она знала, что я никогда не скажу ей о своих чувствах и буду выказывать ей только уважение и братскую любовь. Мы бывали не только в ресторанах, но и в театрах. Наверное, не было в Москве ни одного театра, где я бы не побывал с Лялей. Она любила театр не меньше меня, а потому я несколько не удивился, когда она, повернувшись к окну, сказала мне: «Ну что, мистер Паркер, совместим приятное с полезным для поднятия тонуса, а то что-то скучновато здесь стало». Взглянув в окно, я утвердительно кивнул ей и, подзвав официанта, который хорошо знал нас, попросил его, чтобы он заказал нам два билета в концертный зал. Подобного рода услуги, естественно, входили в счет его чаевых. А дело в том, что из окна ресторана был виден фасад Концертного зала имени Чайковского, где толпилась масса народу. Чуть в стороне, возле Театра сатиры, было безлюдно, а потому я тут же понял и по достоинству оценил своеобразное желание моей подруги. Что же касается ее обращения ко мне «мистер Паркер», то она имела в виду лучшую в мире фирму по изготовлению ручек с золотыми перьями. И иногда, когда она хотела дать мне понять, что мы идем на дело, связанное с моей профессией, она называла меня так, при этом у нее было совсем неплохое английское произношение, не хуже, чем у выпускника Оксфорда. Заполучив билеты, мы уже через несколько минут стояли у центрального входа в театр в толпе шикарно одетых дам и их импозантных кавалеров. Нежно прижавшись друг к другу, мы стали разыгрывать пару влюбленных испанцев, неведомо почему избравших местом проведения своего медового месяца русскую столицу. Уже открылись двери, и мы не спеша вошли в фойе, затем, так же не торопясь, направились к гардеробу, на ходу сбивая снег с одежды. Возле самого гардероба была обычная театральная суета. У огромного зеркала дамы кокетливо сбрасывали с себя дорогие манто на руки кавалеров и не менее кокетливо поправляли прическу и украшения на запястьях ручек, на шейках и на мочках ушей, в которые были вправлены бриллианты, александриты, рубины и другие камни. Ну а кавалеры, положив все эти шубы из норок, лис и соболей на стойку гардероба, терпеливо ждали своей очереди, чтобы сдать их и получить номерок. Гардеробщик, с виду неказистый старичок, сновал туда-сюда, будто детская заводная машина. Наконец и мы с Лялей подошли к гардеробу, и я с манерами светского льва принял ее норковую шубку, которую она грациозно скинула мне на руки. В тот день она была необыкновенно хороша. Я сам давненько не видел ее такой красивой и, довольный впечатлением, которое производила на всех моя дама, направился к гардеробу. Здесь, как я уже упомянул, была обычная театральная суета. В тот момент, когда гардеробщик протягивал руку, чтобы взять

наши вещи, какой-то мордатый фраер, тяжело дыша, опустил свою мануфту на стойку гардероба, прямо впритирку со мной. Повернувшись влоборота, он не мог отвести вожделенный взгляд от Ляли, при этом не забывая правую руку держать на вещах. В голове у меня тут же промелькнуло – купец, и я не ошибся. Но главное, почему я обратил внимание на него, это портмоне, которое лежало у него в левой скуле клифта (пиджака) и которое он как бы нарочно подставил мне, слегка обернувшись в сторону Ляли. И уже непроизвольно, в тот момент когда я протягивал гардеробщику вещи правой рукой, левой я отогнул слегка левую часть ворота клифта и, чуть приподнявшись на цыпочки, выудил портмоне наружу. Действие это заняло не больше десяти секунд, все было чисто и красиво сработано, мне даже самому понравилось, но, оказывается, я зря радовался. Взяв жетон и соединив его с гомонцом, я положил их наверх и повернулся к фраеру спиной, чтобы, на всякий случай, он меня не узнал. Я двинулся по направлению к Ляле и поднял голову. И тут по моему телу пробежала дрожь. Прямо на меня смотрели две пары бульдожьих глаз, налитые кровью от бессонных ночей. Их нельзя было спутать ни с чем, это была контора. «Но как и откуда они взялись?» – моментально промелькнуло у меня в голове. Я взял себя в руки и пошел к своей даме, которая, ожидая меня, мило улыбалась, отвечая на комплимент франтоватого хлыща, проходившего мимо. Ляля увидела их раньше в огромном зеркале, когда поправляла прическу, но дать мне знать никак не могла. А они, увидев ее, стали искать меня глазами, а когда нашли, вроде успокоились, и это говорило о том, что они знают, кого пасут. Естественно, никто не ожидал, что я утащу этот злосчастный бумажник именно тогда, когда на хвосте у нас будет контора. И это не предвещало ничего хорошего, мы были как бы в западне. И сейчас мы старались не подавать виду, что взволнованы, но мозги наши работали в одном направлении: как избавиться от этого неожиданного налета конторы, который тянет этак лет на пять тюрьмы? А прямо след в след за нами шла пара легавых, которые были очень довольны тем, что загнали наконец дичь в угол, на которую давно и безуспешно охотились и которой уже никак не выбраться из этой западни. И, наслаждаясь своим триумфом, они не спешили бросаться на нас, видно предвкушая и предвидя картину нашего задержания. Для муровцев это всегда был спектакль, и надо отдать им должное, артистами они были совсем неплохими. Но человек – всего лишь человек, будь он хоть чекист в квадрате. А вот Всевышний, тот действительно располагает, беря иногда в сообщники случай. А случай – это великий Промысел Божий, которому подвластны все. Но не дай вам Бог, чтобы случай свел вас с МУРом, то есть с профессиональными сыщиками, какими они всегда себя считали и которыми были на самом деле. Но, видно, сегодня мы были обласканы самой фортуной, и удача была сегодня на нашей стороне. Ситуация же была такова, что, когда мы остановились с Лялей где-то посередине этого огромного фойе, то тут же поняли, что спасти нас, кроме Бога, некому. Мы стояли лицом друг к другу, поэтому нам хорошо было видно все, что делается вокруг. Оказывается, обложены мы были действительно мастерски, с присущим МУРу опытом. Оба входа и оба выхода из зала на улицу были под бдительным присмотром. Сзади, как я уже упоминал, стояла пара легавых, впереди была стена, а справа от меня стоял треугольный щит, своего рода реклама, что в то время можно было часто встретить в театрах или в больших кинотеатрах. Не знаю почему, делая вид, что я увлечен разговором с Лялей, я стал рассматривать этот щит. Но не сам щит заинтересовал меня, а батареи отопления, которые были расположены вдоль всей стены, под огромными окнами. Видимо, чтобы скрыть не радующие глаз радиаторы, их обтянули алюминиевыми листами, которые возле пола были загнуты приблизительно на два пальца шириной и, с интервалом в десять сантиметров, были прибиты гвоздями. Прямо напротив щита одного гвоздя в ряду не хватало, и поэтому это место как бы вздулось. Вот куда был устремлен мой взгляд, и, возможно, если бы не звонок, возвещающий о начале концерта, я бы никогда и не понял, какой подарок в очередной раз приготовила мне фортуна в этот вечер. Мне хватило нескольких секунд, чтобы объяснить свой план Ляле. Как я уже упоминал, у нас был круговой обзор, и вот в тот момент, когда мне показалось, что нас

на секунду выпустили из поля зрения, я изо всей силы пустил портмоне, которое уже давно приготовил, вскользь по полу в направлении этого зазора. Трудно себе представить, что пережили мы оба за ту секунду, которой хватило, чтобы наша улика скрылась под этим нагромождением алюминия. А о том, что она там скрылась, думаю, читателю нетрудно догадаться, иначе я не вспомнил бы этот случай. Все эти приготовления и действия заняли не больше минуты, и мы уже снова стояли, также мило улыбаясь друг другу. А когда прозвенел второй звонок, мы медленно пошли к залу, но у самого входа нас попросили задержаться, что мы и сделали, молча отойдя в сторону. Когда же мы остались одни в окружении своры гончих псов, то увидели, что к нам деловой походкой направляется женщина в строгом темном костюме. Когда она подошла и пропела на своем легавом наречии пару куплетов о сдаче краденого, последние сомнения у меня насчет облавы тут же улетучились. Все-таки надо отдать ей должное, она была красивая женщина, и если бы не принадлежность ее к ненавистному мне клану легавых, то я готов был даже за ней приударить. Дальше пошел натуральный спектакль, а храм искусств, где мы находились, вполне оправдывал свое предназначение. Маски мы, естественно, сразу сбросили, так как перед нами были профессионалы, а если быть точным, асы сыска. И представьте себе – эти муровские асы, тут же обыскав нас с Лялей, ничего не обнаружили. Мы же с Лялей ликовали про себя, глядя на их недоуменные лица, но вида, естественно, не подали. Они стали обыскивать каждый метр вокруг, чуть ли не разобрали целиком рекламный щит, но их поиски были тщетными. Через некоторое время привели и потерпевшего. Как я и предполагал, он был работником торгпредства, и, пока ему не сказали, кто мы, он был крайне возмущен, как можно подозревать в краже такую красивую и элегантную даму. Про меня он почему-то не сказал ни слова и даже суверенностью утверждал, что не видел меня вместе с Лялей – и вообще не видел. Два этих важных обстоятельства сводили к нулю всю работу муровцев, да еще такого высокого ранга.

Конечно, самолюбие ментов было ущемлено, но они не хотели сдаваться. Когда старшая опергруппы, а это была майор Грач, поняла весь комизм ситуации, она с интонациями побежденного врага сказала: «Ну что ж, как профессионал, я отдаю должное вашему артистизму и ловкости, сыграно все было прекрасно. Но мне бы хотелось продолжить сей спектакль с некоторой расстановкой действующих лиц, но уже в другом театре – на Петровке, 38». Это означало, что все самое худшее было впереди. Мы, конечно, не подали вида и молча пошли к выходу в сопровождении озлобленных легавых. Много раз за годы совместной работы с Лялей мы попадали в разные ситуации и хорошо знали психологическое состояние партнера в том или другом случае, даже на момент ареста. Так что мы были абсолютно спокойны друг за друга в плане совпадения показаний. Что же касалось всего остального, то здесь никогда ничего нельзя было предугадать – это был МУР. Их принцип гласил: «Для достижения цели все средства хороши». С нами был случай совсем неординарный, в этой конторе нас знали уже давно, и знали, естественно, что выколотить из нас показания будет невозможно. К тому же потерпевший оказался еще и коммунистом, и этот фактор сыграл главную роль в том, что мы остались на свободе. Рассказывать, как мы подвергались многочасовой процедуре допросов, думаю, не имеет смысла, главное то, что к утру мы были уже на свободе. Но в течение суток мы должны были любыми путями вернуть портмоне. О деньгах разговора не было, главным являлся партбилет – такой у нас был уговор с начальством. Видно, все же мы смогли их убедить в том, что, пока они охотились за нами, кто-то под шум волны «сработал» и ушел. Факт тот, что наши показания во всем совпадали. Я хорошо помню, как, закутавшись в свои шубы, спасаясь от утреннего зимнего холода, мы шли по Петровке в сторону Большого театра и ломали себе голову, как заполучить этот лопатник? Но все оказалось проще простого. У Жениного кореша отец работал декоратором в Зале Чайковского, он и помог на следующий день извлечь интересующий нас предмет. После того как мы вернули портмоне, а это было сделано в тот же день, легавые повели себя как обычно они действуют в таких случаях. Они выдвинули ультиматум: 72 часа – и чтобы

духу нашего не было в столице. В течение этих трех суток мы были заняты тем, что послали сообщение Цирулю о том, что случилось с нами, и оставили мои домашние махачкалинские координаты. Затем мы заплатили за квартиру за полгода вперед, оставили ключ от квартиры и деньги на тот случай, если придет известие от Дипломата или Карандаша, и на исходе третьего дня покинули столицу, уверенные в том, что мой кореш Женька сделает все как надо и по ходу дела будет нас информировать обо всем. У меня хотя бы были дом, мать, отец, бабушка, а у Ляли не было никого, и поэтому она безоговорочно приняла мое предложение ехать со мной в Махачкалу.

Глава 4 Дома в Махачкале

Каждый раз после долгого отсутствия, когда ты вновь посещаешь город, где родился и вырос, тебя всегда охватывает волнение. Так было и в этот раз. Мы с Лялей остановились в гостинице «Дагестан» как командированные специалисты по электронике. Эта отрасль науки тогда еще только начинала развиваться, и поэтому нам легко было изобразить ее представителей. В столице я умудрялся играть разные роли, и они почти всегда удавались мне, как у профессионального артиста, что же касается Махачкалы, то здесь выдавать себя за кого-то было опасно, так как меня здесь хорошо знали. О Ляле я и не говорю, она была, на мой взгляд, прирожденной актрисой. Паспорта у нас были в порядке, с московской пропиской (кстати сказать, первое, что сделал мой дед после нашей встречи, это прописал меня в Москве, хотя при моих судимостях это было непросто). Сейчас мне нужно было время, чтобы осмотреться, ведь я не был здесь почти три года. Да и Лялю одну я никак не мог оставить, а о том, чтобы нам вместе появиться у меня дома, не могло быть и речи. Так что, набравшись терпения, я стал потихоньку зондировать почву. Все то время, что жил в Москве, я, естественно, держал связь с домом и с некоторыми из друзей, а потому имел кое-какие представления о реальном положении дел. Но одно дело знать из писем, а другое – увидеть своими глазами. Признаться откровенно, больше всего меня интересовала или, скорее, мучила мысль об Оле, ведь о ней я не знал ничего. И это не давало мне покоя. Я переписывался только с бабушкой, которая считала, что я учусь в Москве. Мать так и не простила меня, она просто выгнала меня из дома, а в нашем кругу о женщинах не принято было говорить вообще. Но здесь меня ждал удар, после которого раны заживают лишь только с годами, а иногда и вообще не заживают. Несколько месяцев назад моя Оля, закончив мединститут, вышла замуж и буквально перед самым нашим приездом уехала с мужем в ГДР, по месту его службы, он был военный. Я принял эту весть, можно сказать, стоически и хотя я очень страдал, но ни разу ни с кем не говорил об этом. Даже Ляле, которая знала все о моей прошлой жизни, я ничего не сказал. По дороге в Махачкалу она уговаривала меня сразу повидаться с Олей, а уже потом заняться другими делами. И в дальнейшем она ни разу не коснулась этой темы, видимо чувствуя, как мне тяжело. А я все думал, думал об Оле, и мое воображение рисовало мне картины наших встреч с ней, воскрешало подробности, детали этих встреч, когда я, безусловно, был счастлив. Но прошло время, и я перевернул эту страницу своей беспечной молодости, хотя и не забыл пережитое мною чувство, которое называется любовью. Что же касается друзей, то и здесь было мало утешительного. Почти половина из них сидела, об этом я знал давно из писем, которые они же мне и писали. До Нового года оставалось всего несколько дней, и мы с Лялей решили справить его здесь, в гостинице, вдвоем, уповая на все то же старое поверье: с кем встретишь Новый год, с тем и проведешь его. Ну а потом, решили мы, будем предпринимать какие-то шаги касаясь нашего дальнейшего воровского будущего.

В начале января я повстречал своего старого кореша Витю Костинского, с которым вместе сидел еще в ДВК в Каспийске. Он и теперь жил в том самом Каспийске с женой Светой, и ее я знал хорошо, они и крали вместе. Так вот, после непродолжительной беседы он пригласил

сил нас с Лялей к себе в гости, чем мы не преминули воспользоваться через несколько дней. Мне пришла в голову неплохая мысль. Можно было обосноваться в Каспийске, где нас с Лялей никто не знал, тем более что оттуда можно было спокойно ездить куда угодно. Мы так и сделали и уже через неделю справили новоселье в тихом и скромном доме на берегу моря, хозяйкой которого была хорошая, добрая женщина. Никто не знал, где мы живем, и в дальнейшем так никто и не узнал, пока мы вообще не уехали из Каспийска. А за то время, что мы жили в гостинице в Махачкале, мне даже не нужно было выходить из нее, чтобы узнать интересующие меня городские новости. В буфет ресторана на первом этаже с утра и почти до ночи заходила остограмниться вся блатная Махачкала. Два ресторана в городе – «Лезгинка» и «Дагестан» – пользовались абсолютной прерогативой в этом плане. Ляля тоже не сидела на месте. Она была впервые не только в Дагестане, но и вообще на Кавказе. Поэтому с самого утра, надев платок на голову, главный аксессуар горянки, она уходила знакомиться с городом, с его неповторимым колоритом и горным ландшафтом.

В результате она заявила, что море и горы – это бесподобно, но остальное оставляет желать лучшего. Но это была земля моих предков, это была моя родина, которую, какая бы она ни была, я любил, как, наверно, и каждый нормальный человек. Деньги у нас еще были, поэтому, прежде чем заняться выживанием их из чужих карманов, мы решили в виде экскурсии проехать по тем местам, где, как нам показалось, можно было бы неплохо пожить и которые я сам когда-то посещал с бригадой Чуста. Женщине-горянке свою красоту, если таковая имеется, приходится прятать от любопытных глаз – так принято у мусульман. Поэтому Ляля перевоплощалась чуть ли не каждый день, а иногда и по нескольку раз на дню, в персонажи, которые ей нужно было играть вкупе со мной. И делала она это, надо заметить, с великим мастерством. Мне же перевоплощения были ни к чему, зато играть приходилось тонко и осторожно, ибо я знал, где нахожусь, я здесь родился, и мне было хорошо известно, как поступает с пойманным вором этот дикий и необузданный народ. Здесь нельзя было допустить ошибку, равно как и переиграть. И если в России при запале нас отводили в милицию или, на худой конец, били, то здесь самосуд кончился бы трагедией. Здесь нередко удар кинжала мог остановить жизнь вора. Особенно это касалось базаров, куда мы выезжали в воскресные дни. Хасавюрт, Хошгельды, Курчалой, Шали, Буйнакск, Ая-Базар – вот неполный перечень базаров, куда мы ездили воровать. Некоторые воришки оттуда не возвращались. Иногда приходилось тянуть из кармана кошелек, а тыльной стороной пальцев чувствовать присутствие кинжала. В общем, приходилось рисковать. Риск давно стал нормой нашей жизни, нашим вторым «я». Пришлось мне, конечно, появиться и дома. Бабушке я сказал, что приехал на зимние каникулы. Мать с отцом были честными людьми и к тому же большими тружениками, смириться с мыслью, что их сын вор, они никак не могли. Так что неудивительно, что только в кругу равных себе я находил душевный покой и удовлетворение. Так прошло несколько месяцев. Весна на Кавказе наступает рано, и в первых числах марта мы с Лялей решили покинуть Дагестан. Меня здесь ничто не удерживало, я, глупец, тогда еще не понимал, что придет когда-то время, когда я буду сильно об этом сожалеть. Сожалеть, что не воспользовался возможностью подольше общаться с людьми, которые дали мне жизнь. Да и Ляля рвалась отсюда, не нравилось ей здесь почему-то, но открыто она этого не выражала, – видно, не хотела обидеть меня.

Я все чаще стал замечать грусть в ее глазах, на нее порой находили приступы меланхолии, чего я раньше никогда не замечал. В общем, глядя на все это, я решил, что нам опять пора отправляться в путь-дорогу. Я немного догадывался, куда бы хотелось направить свои стопы моей спутнице, моему верному и испытанному другу. У нас было так много общего с ней, мы одинаково любили жизнь и приключения. Здесь, пожалуй, я ненадолго прервусь, чтобы объяснить читателю все, что касается наших отношений с Лялей, ибо считаю, с моральной и нравственной точки зрения, сделать это необходимо. Описывая в предыдущих главах наши похождения, я рисовал ее образ в общих чертах, применяя банальные эпитеты: красивая, гра-

циозная, милая и прочее. Так можно было описывать лишь холодную статую, но не женщину. Поэтому я берусь исправить свою ошибку, тем более что оригинал стоит того.

Она была выше среднего роста, со спокойной и уверенной поступью, порой она напоминала львицу пустыни, – кстати сказать, родилась она в Средней Азии. Ее лицо напоминало цветок: красивый лоб и великолепно очерченные яркие губы, огромные черные, блестящие глаза, которые обрамляли черные изогнутые ресницы. От этих глаз нельзя было оторвать взгляд. Ляля отличалась ясностью ума, живостью и чистосердечием. Если бы не злой рок, который уготовила ей злодейка судьба, она могла бы стать хорошей женой и прекрасной матерью, но увы! Как часто мы пытаемся принять желаемое за действительное. Ляля была умной женщиной, намного старше меня, а потому, когда мы оставались одни, она догадывалась обо всем, что творится у меня в душе. И вот однажды в Москве... Помню, лил проливной дождь, мы вернулись домой, промокшие до нитки. И после горячего душа сели на кухне пить чай. Казалось, обстановка была самая что ни на есть обыденная, да и в ее облике не было ничего необычного: пирамида из полотенца на голове да батистовый халат. Но меня почему-то начало трясти, и она со свойственной ей проницательностью поняла все. Взглянув на меня, она вдруг сказала: «Заур, родной, я уважаю твои чувства и ценю твое отношение ко мне. Твое терпение и выдержка порой восхищают меня. Мы можем переспать, и я уверена, что Бог нас за это не осудит, но я надеюсь, ты понимаешь, что тех отношений, что были между нами, уже не будет. Да и сами мы станем другими, я больше чем уверена в этом. Ведь друг и любовник – это абсолютно разные понятия». Сказав все это, она встала и, взглянув на меня с достоинством и мудростью жрицы, добавила: «И да поможет тебе в правильности выбора Всевышний». И Ляля пошла спать своей уверенной и неторопливой походкой. В этот миг бледная молния залила свинцово-фиолетовым цветом все вокруг, как бы предостерегая меня от неверного шага.

Откровенно говоря, я долго не мог заснуть, но не потому, что мучился и делал выбор, нет. После слов Ляли на меня будто вылили ковш ледяной воды. Я тут же пришел в себя, еще толком не понимая, как все это могло произойти. Я пролежал почти до утра, думая совсем о другом, скорей всего, это были думы о превратностях судьбы и разного рода жизненных перипетиях.

Но после этого случая ни я, ни она и не приближались к этой щекотливой и опасной теме. Отношения наши оставались даже больше чем дружескими. Как у брата с сестрой.

Глава 5 С лялей в Самарканде

Еще в детстве вкус к прекрасному мне привила моя бабушка, а значит, выглядеть элегантно у меня не было проблем. Были бы средства, а они были. В первых числах марта в поезд Ростов-Баку, прибывший в 20:55 по московскому времени на Махачкалинский вокзал, садились двое: элегантно одетая дама в красивом платье и в модном в то время плаще-болонье, зажав под мышкой маленький лаковый ридикюль, тоже модный в то время, и не менее элегантный молодой человек в синем бостоновом костюме, с шикарным китайским макинтошем наперевес в одной руке и большим дорожным чемоданом в другой. Путь нам предстоял неблизкий, конечный же пункт нашего маршрута был Самарканд – единственное место на земле, о котором Ляля хранила нежные воспоминания. Маршрут нашего путешествия мы с ней выбрали заранее: поездом до Баку, оттуда паромом через весь Каспий до Красноводска, и уже потом, опять поездом, до самого Самарканда. Путь был тяжелый и утомительный даже для меня, молодого и сильного человека, каким я был в те годы.

Но этот маршрут выбрала Ляля для того, чтобы я смог постепенно подготовиться к «работе» в Средней Азии. Она изображала из себя невесту, как будто нам в скором времени предстояло соединить наши судьбы законным браком. Я не противился причудам моей

подруги, и, как показало время, она оказалась права. С тех пор как Ляля с ворами покинула Самарканд, прошло около десяти лет, и ни разу после этого она не была здесь. Мы довольно часто покидали пределы Москвы и колесили по стране на «гастролях». Удивительно, но никогда взгляд воров не был устремлен на Восток. В основном это были республики Прибалтики, Белоруссия, Украина, потому что их границы с просвещенной и богатой Европой были рядом, а значит, нам было где и у кого пожить.

Да и сходняки воровские происходили чаще всего в таких городах, как Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Харьков, самым дальним считался Ростов. И что удивительно, на всем протяжении нашего пути на проверяющих документы московская прописка действовала просто магически. Мы в свое время поняли это и тут же взяли на вооружение. Мало того, мы даже старались подчеркнуть свою принадлежность к столичной аристократии.

От Баку до Красноводска паром шел 11 часов. Каюты были почти такие же, как купе в поездах, но более вместительные и просторные. Была и большая кают-компания, где все пассажиры сидели в креслах, установленных так, чтобы можно было смотреть телевизор над большим проходом. Перспектива сидеть в этих креслах во время всего пути нас не радовала. Скорее наоборот, я уже начинал нервничать, глядя на алчные глаза кассирши, которая повторяла как заведенная: билетов в каюты нет. Ляля, кокетливо улыбаясь, протянула ей наши паспорта, тихо промолвив при этом: «Будьте любезны, дайте два билета, пожалуйста». Сейчас трудно сказать, что больше возымело действие – сами паспорта или вложенные в них хрустящие червонцы, но места, правда последние, для нас все же нашлись. И вот какой забавный, а скорее, печальный случай произошел на пароме – это был случай, который заставил меня поглубже вникнуть в нравы Средней Азии. Был вечер, уже около пяти часов паром находился в море. Мы сидели в баре, с наслаждением потягивая коктейль, прекрасно приготовленный барменом, и слушали медленный блюз. Народу в баре было мало. Вдруг откуда-то послышался такой душевраздирающий женский крик, что даже у меня холодок пробежал по коже. А Ляля от неожиданности вздрогнула, как раненая пантера. В следующую минуту все, кто находился в баре, бросились в коридор, а оттуда в кают-компанию, откуда доносился крик. На полу, посреди широкого прохода между кресел, сидела, а скорее, полулежала женщина. С первого взгляда ее можно было принять за цыганку, но маленькие чумазые детишки с чуть раскосыми глазами, сидевшие вокруг матери полукругом и причитавшие ей в унисон, не оставляли никаких сомнений в том, что она была представительницей азиатской народности. Раскачиваясь из стороны в сторону, она рвала на себе волосы, била руками об пол – казалось, что она лишилась самого дорогого, что есть у нее на свете, – своего дитя. Но лишилась она, как оказалось, кошелек, так как его у нее украли. В принципе этот факт для нее не имел никакого значения, главное, что дети ее оставались голодными, а путь до места назначения был неблизкий. Согласитесь, такая картина никого из присутствующих не могла оставить равнодушным. Почти половину пассажиров кают-компания составляли военные пограничники с женами, как я узнал позже, направляющиеся на новое место службы. Так вот, один из офицеров снял с головы фуражку, и она пошла по кругу, наполняясь рублями, трешками, пятерками, а иногда и червонцами.

Не буду описывать, сколько времени понадобилось окружающим, а это были жены все тех же военных, чтобы успокоить эту несчастную женщину. Успокоившись, она стала благодарить всех с именем Аллаха так, как это могут делать только восточные люди. Помню только, что, когда ажиотаж вокруг нее поутих, мы подошли к этой женщине поближе. То, что я увидел и ненароком услышал в маленьком диалоге между матерью и ее дочуркой, надолго сохранилось в моей памяти. С детства я знал два языка, кумыкский и турецкий, и это давало мне возможность понимать все тюркские наречия. Так что все языки Средней Азии, кроме таджикского или фарси, я понимал неплохо и по мере надобности мог говорить на этих языках. Так вот, когда старшая дочь, а ей на вид было лет шесть, с детской наивностью протянула руку, чтобы взять одну из купюр, мать резко ударила ее по протянутой руке.

С быстротой хорька мать огляделась вокруг и быстро сказала плачущей девчужке: «Не смей прикасаться своими грязными руками к тому, что еще не успела заработать, благодарите Аллаха, что я вас еще кормлю». Я был поражен услышанным. Ляля, улыбнувшись, потянула меня за рукав в бар. Естественно, и она тоже все прекрасно поняла, ибо хорошо знала турецкий язык, да еще и цыганский в придачу. Почти весь оставшийся путь мы молча цедили коктейль в баре и слушали музыку. Ляля, видно, давала мне время осмыслить увиденное и услышанное, а на лице ее играла загадочная улыбка царицы Востока. Дальнейший наш путь ничем примечательным, можно сказать, не отличался, не считая верблюдов, которых я с удовольствием разглядывал, ведь ранее я видел их только в кино. Если на Кавказе весна наступает рано, то сюда, в Азию, она приходит еще раньше. Я никогда не думал, что пустыня может быть такой красивой, а больше половины нашего пути проходило именно в пустыне. У меня была возможность присмотреться к некоторым людям, и вывод, который я сделал, был далеко не в пользу тех, кто живет на этой земле, хотя, наверное, мнение мое было субъективно, и поэтому Ляле я не сказал ни слова. Но, видно, она давно научилась читать мои мысли. Мы с Лялей стояли у окна, рядом с купе проводника, окно было открыто, и я не без наслаждения вдыхал свежий воздух. И тут я услышал спокойный и уверенный голос своей подруги: «Зачастую, мой милый, не всегда первое мнение нужно принимать за основу, часто оно бывает ошибочным». К счастью, Ляля опять оказалась права. Самарканд нас встретил морем солнца и шумом на привокзальном базаре, когда мы зашли туда, чтобы справиться о своих знакомых. Как я уже писал ранее, Ляля больше десяти лет не была здесь. Много, конечно, за это время изменилось, но главное, естественно, были люди. Где они? Остался ли кто-то из прежних знакомых? Я видел, как она волновалась, когда мы поднимались в лифте гостиницы «Интурист» к себе в номер. Как только мы вошли, я тут же заказал шампанское. И уже через несколько минут я увидел ее благодарную улыбку сквозь прозрачный хрусталь фужера. Тост у нас был в то время неизменен: «За матушку удачу и сто тузов по сдаче, за жизнь воровскую и смерть мусорскую». Но я еще добавил: «За славный город Самарканд». Откровенно говоря, этот город заслуживает и большей чести, чем провозглашение тостов в его честь, хоть, думаю, для его жителей это тоже приятно. На следующий день мы решили, так же как и в Махачкале, только с точностью до наоборот, совместить приятное с полезным. Ляля поехала по делам, я же решил немного познакомиться с городом. Ксивота у меня была в порядке, мало того, как я упоминал, московская прописка действовала на всех магически, и правоохранительные органы Самарканда в этом плане не были исключением.

Когда говорят, что Самарканд – это жемчужина Востока, нет ни одного слова неправды в этом изречении. Город действительно был великолепен. Первое, куда я направил свои стопы, был, конечно, Регистан. Этот древний архитектурный ансамбль буквально завораживает своим величием и неповторимостью не только знатоков истории и ценителей древности, но и людей с менее развитым интеллектом. Помню, в детстве я читал книгу «Звезды над Самаркандом», так вот, стоя у подножия этих шедевров древнего зодчества, все герои книги будто ожили в моем воображении. Рядом с подножием башни Биби-Ханым или возле обсерватории Улугбека изумляешься их красотой и неповторимым величием. За целый месяц невозможно было обойти все, осмотреть и осмыслить, поэтому я решил не торопиться, ибо в ближайшие дни не собирался покидать этот город. Другая же причина была чисто житейская. Я здорово проголодался. Под стенами Регистана шумел старый восточный базар. Его жизнь и неповторимый дух описаны многими поэтами и прозаиками Востока. Я уверен, что не смогу внести ничего нового при его описании, а потому не буду даже пытаться делать это. Достаточно читателю представить себе самаркандский базар, и думаю, что сам Восток оживет в его воображении во всем своем красочном, неповторимом колорите. Аппетитный запах, исходивший из духана, привлек мое внимание, и я не преминул воспользоваться услугами духанщика, когда услышал, как и в каких выражениях он зазывает к себе прохожих. Духанщик был прав – обед был вели-

колепен, узбекская национальная кухня вообще славится во всем мире. Хорошо пообедав, я направился к выходу. До гостиницы я решил идти пешком, тем более она была недалеко, а вечер выдался изумительный. Ляли еще не было дома, когда я добрался до своего номера, и, удобно расположившись на диване, я заснул глубоким сном. Проснувшись, я взглянул на часы, был поздний вечер. Ляли еще не было. Я начал волноваться и не знал, что предпринять. Через полчаса раздался условный стук в дверь, это пришла Ляля, но она была не одна. Двое ребят, приблизительно одного со мной возраста, приятной наружности, азиаты, сопровождали ее. Я понял, что это ее друзья, и немного успокоился. Оказалось, Ляля нашла кое-кого из своих знакомых, от них она узнала, что в городе находится Хасан (Каликата). Попасть к нему было нелегким делом, но только не для Ляли, тем более она его лично знала, а это в корне меняло дело. Переговорив с ней, он послал с Лялей двух ребят, чтобы они доставили нас к нему. Через несколько минут мы были в машине, которая ждала нас у входа в гостиницу, а еще через полчаса нас провели в комнату, обставленную в восточном стиле. На ковре сидели двое мужчин преклонного возраста, они пили чай и вели неторопливую беседу. Это были Хасан (Каликата) и Толик Жид – одни из самых авторитетных уроков того времени в Средней Азии. Я поздоровался с обоими и сел без приглашения – так было принято. С Жидом читатель еще встретится на страницах этой книги, в Коми АССР, поэтому у меня еще будет возможность рассказать о нем. Что же касается дедушки Хасана, как любовно и уважительно называла шпана этого урку, то с ним придется встретиться лишь спустя 18 лет здесь же, в Самарканде, да и то мимоходом. Он приедет из Ташкента, где жил в то время, на похороны своей старенькой жены. Так что, думаю, было бы воровским неуважением не посвятить ему несколько строк, ибо описывать человека во время похорон жены я считаю верхом неучтивости. Хочу тут же обратить внимание читателя на то, что в последние годы я довольно часто слышал, как некоторые молодые бродяги путают Хасана-курда, которого шпана тоже называет дедушкой Хасаном, с Хасаном Каликатой, который к тому же был татаринном. Они, конечно, оба урки, достойные всяческого уважения, но это разные люди.

Да и Каликата уже давно упокоился, а дед Хасан живет и здравствует, Бог ему в помощь. О таких старых и авторитетных ворах, каким был Хасан Каликата, очень часто можно слышать в воровских кругах, если, конечно, имеешь туда доступ. Я, естественно, о нем слышал и раньше, а вот только сейчас довелось встретиться. Он был чуть выше среднего роста, немного сутуловатый, серьезный, даже суровый, из тех, кто смотрит на жизнь сквозь призму долга и идет своим путем, стараясь доказать, что воровской образ жизни стоит превыше всего. Все муки ада, которые на земле придумали люди, он прошел, как и подобает вору, с честью и достоинством. Говоря о Хасане, я несколько не хотел умалить заслуги и достоинства другого урки, Толика Жида. Ибо в братстве воровском нет понятий: мал или стар, здесь все равны между собой. Одно слово вор – этим все должно быть сказано для любого, кто имеет честь принадлежать к нашему сообществу. Но вот что касается авторитета, это другое дело, его надо заслужить. А значит, человек, пользующийся всеобщим уважением среди избранных людей преступного мира, то есть среди урока, должен обладать незаурядными качествами, присущими сильным и цельным натурам. Таким и был Хасан Каликата. И пожалуй, не ошибусь, если скажу: на то время авторитетней его в Средней Азии не было вора. Почти до самой ночи мы с ним проговорили. Некоторые события, естественно, воровского характера, очевидцем которых я был или слышал от кого-либо из урока, я рассказал ему со всеми подробностями. В общем, мы очень интересно и с пользой друг для друга провели время. На следующий день Хасан с Толиком познакомили нас с Мишей (Косолапым) и еще несколькими самаркандскими ширмачами.

Никого из них Ляля не знала. Мишаня тоже был в большом авторитете среди крадунов не только Самарканда, но и всей Средней Азии. Напротив старого базара, прямо у стен Регистана, находилось 4-е отделение милиции. Сотрудники его были страшным бичом для всех ширмачей. Если им в лапы попадался карманник, у которого не было денег, чтобы откупиться, то

его избивали до полусмерти, а потом еще и сажали на срок. Общеизвестна изощренная жестокость азиатских народов, она, как правило, беспощадна. Вместо КПЗ они использовали старую башню времен Средневековья. Внизу размещалось караульное помещение, а наверху содержали арестантов. По всей вероятности, верхние этажи этого некогда величественного сооружения были апартаментами какого-нибудь хана, а внизу располагалась челядь. Там они издевались, как могли, над нашим братом, прежде чем отвезти в тюрьму. Тюрьма же была в 60 километрах от Самарканда, в Каты-Кургане. Однажды и мне довелось просидеть в этой башне 12 суток, но меня и пальцем не тронули. На то, конечно, у них были свои причины, но зато нервишки попортили. Хотя это было уже не в счет, главное – кореша вытащили меня и я был на свободе. Что же касается нервишек, то, как известно, в молодости эмоциональные стрессы проявляются не так ярко, как в преклонном возрасте, и уже на склоне лет, вспоминая обо всем этом с глубоким сожалением, удивляешься: неужели ты еще жив? Самарканд в то время буквально кишел карманниками со всей Средней Азии, иногда сюда приезжали бригады с Кавказа, иногда из России. Здесь можно было неплохо пожить, так как помимо приезжих из самой Средней Азии всегда было много иностранных делегаций и просто любителей и ценителей глубокой древности из-за границы. А значит, это была валюта, то есть большие деньги. Кстати, за сохранность карманов иностранных граждан отвечало все то же 4-е отделение. Конкуренция была большая, поэтому, как и везде, местные выезжали на «гастроли» иногда даже чаще, чем залетные гастролеры приезжали к ним. В общем, происходил обмен информацией и некоторого рода опытом. В этом плане, естественно, и наша бригада не была исключением. Выезжали мы в разные места, в основном в Ленинабад и Термез, потому что там была «работа» в основном для чистоделов и соответственно куш был немалый. Мне бы хотелось поговорить о Термезе.

Во-вторых, это приграничный город, и, чтобы попасть туда, мы за несколько остановок выходили из поезда и порознь садились в рейсовый автобус. В трех местах до Термеза пограничники проверяли документы и багаж. В самом Термезе «работа» была в основном письмом, а писак, по большому счету, в Средней Азии я встречал очень редко. И в то время я по праву гордился тем, что мог причислить себя к избранной плеяде русских воров-карманников. Среди нас, пятерых, письмом, по большому счету, работал я один. Представьте себе бабая: в «пехе» – так называется скула, то есть внутренний карман пиджака или халата, – у него лежат деньги.

Сверху надет еще один халат, да еще завязан своего рода кушаком прямо посередине живота. Или представьте себе бабая, у которого прямо на голое тело надет пояс с большими ячейками для разных купюр в виде патронташа. Здесь, кроме как письмом, украсть было никак невозможно. Конечно, это было рискованно, требовался немалый опыт, абсолютное понимание партнеров, но зато цель всегда оправдывала средства, куш мы срывали всегда большой. Что касается разговорной речи, которую употреблял преступный мир Средней Азии, то есть жаргона, или, как чаще его называли, фени, то она была своеобразна и резко отличалась от российской. Вообще в преступном мире существуют такие выражения: российская феня, колымская и питерская. Самой простой и распространенной была российская, самой же сложной и витиеватой – колымская, все же остальные были не чем иным, как пародией на ту же феню. Но помимо общепринятой фени преступного мира страны была еще и чисто индивидуальная феня, придуманная только для карманников. Везде она имела одинаковое значение, только в некоторых регионах варьировалась. К слову сказать, всеми ими в свое время я овладел в совершенстве. И думаю, будет нелишним в конце этой книги дать маленький словарь этой фени.

Термез того времени напоминал большой караван-сарай – кого здесь только не было. Однажды возле духана за кирпичным заводом я разговорился с одним старым таджиком: нам нужен был хороший терьяк для отправки в Андижан, в крытую, и на «Караул-базар» в зону – там, кстати, был единственный в Узбекистане особый режим. Засомневавшись в качестве товара, я сказал об этом погонщику. Он молча повел нас к еще не развьюченным ишакам,

которые стояли за оградой в стойле, и, чуть прищурился и без того узкие глаза, сказал нам: «Посмотри, могут эти ишаки быть коммунистическим видом транспорта?» И, ловко нагнувшись, достал откуда-то из-под хурджина сверток, весь пропитанный маслом, в котором был завернут чистый афганский терьяк. Здесь, в Термезе, я даже встретил своих земляков, золотых дел мастеров. Много среди них было пограничников и чекистов. И что удивительно, чекистов было больше, чем милиции. То есть внутренние проблемы, видно, тогда отодвигались на второй план перед внешним врагом, коим считался Афганистан и весь капиталистический мир в целом. Тогда еще наши войска не вступали в Афганистан, кругом был мир и относительное спокойствие. После одной из поездок, когда мы возвратились назад в Самарканд, а жили мы в то время все вместе в одном частном доме, возле фабрики 8 Марта, меня ждало письмо из дома. Я сразу понял, что известия в письме важные, так как почерк на конверте был материнский. В письме мать писала, что бабушка находится в тяжелом состоянии, и, будучи медиком, она была уверена, что долго ей не протянуть.

Заканчивалось письмо такими словами: «Если ты еще совсем не потерял совесть, то приезжай повидаться, а возможно, и проститься, с человеком, который тебя воспитал, она тебя ждет». Такое письмо я, естественно, не мог проигнорировать. Провожала меня в аэропорту вся бродяжня, с которой я последнее время жил и воровал. Ляля даже прослезилась, что с ней бывало очень редко. Мы друг другу ничего не обещали, уже наперед зная, что судьба все равно сделает по-своему. И кто бы мог подумать или предположить, что в следующий раз я смогу ступить на эту землю лишь 18 лет спустя. Но это особая глава в моей жизни, и о ней я расскажу позже, а пока, простившись со всеми чисто по-жигански, я сел в самолет и уже через несколько часов был в Баку. А еще через час мчался на такси в Махачкалу и уже вечером был в объятиях своей бабушки, которая, лежа в постели, прижимала меня к своей груди и тихо плакала. С моим приездом мою бабулю будто подменили. Через несколько дней она уже поднялась с постели, а еще через неделю была почти здорова и отпускала всякие шуточки в адрес пессимистов. Бывает такое в медицине, когда встреча с родным человеком замедляет процесс болезни, а порой и останавливает его. В общем, так или иначе, а бабушка моя была здорова. Мать моя хотя и была медиком, но была глубоко верующим человеком, она, естественно, причисляла выздоровление бабушки к воле Всевышнего, а потому заставила меня поклясться, что никогда больше я не возьму ни у кого ничего чужого. И если я нарушу свою клятву, то Бог тут же покарает меня. Чтобы не обидеть мать, я, конечно, дал ей такую клятву, в душе же не веря ни в Бога, ни в черта. Так мне тогда казалось. Впоследствии я понял, что данную клятву действительно нужно держать, ведь сделка с Богом чревата самыми страшными последствиями. Прямо перед Новым, 1971 годом, 17 декабря, я сел, и, как я писал ранее, в скором времени умерла моя бабушка, случайно услышав от моего пьяного отца, что внук ее вор и сидит за это в тюрьме.

Часть VII

Странствия и между прочим женитьба

Честность – прекрасная вещь, если кругом все честные, а я один среди них жулик.

Гейне

Глава 1

Лагерь в Орджоникидзе

Человек, попавший в тюрьму, даже если он знал, что не сегодня завтра его могут лишить свободы, чувствует себя зверем, попавшим в капкан. Мозг его работает в двух направлениях: во-первых, как выбраться из этого капкана, вплоть до того что он готов отгрызть себе лапу, и, во-вторых, как лучше обустроиться в этих, ничего общего не имеющих с человеческими условиями. Что же касается душевного состояния... Во времена далекой древности человеку при очень серьезных ранениях делали надрезы либо на руке, либо на ноге. Организм, таким образом, на некоторое время переключался на ту боль, которая была ему причинена только что, и тогда лекарь получал возможность обработать серьезную рану. Проще говоря, боль отвлекали болью. То же самое происходит и в душе арестанта. Все жизненные невзгоды и проблемы, которые могут возникнуть на воле, меркнут перед ужасом заключения под стражу. И даже если на свободе человека постигло большое горе, тюрьма подействует в его быстром выздоровлении, как бы парадоксально это ни звучало. Боль, связанная с тюремным бытием, отвлечет человека от любых бед, которые случились с ним или его близкими вне тюрьмы. Махачкалинская тюрьма начала 70-х годов ничем не отличалась от других тюрем страны, за исключением, пожалуй, некоторого рода нюансов регионального характера. Но эти отличия могли увидеть только те, кто уже побывал в заключении, и поэтому могли делать соответствующие выводы. В зависимости от принадлежности арестанта к определенной ступени иерархической лестницы в преступном мире можно было видеть разное проявление чувств и эмоций. Если они выражались только в виде устных жалоб, без нарушения тюремного устоя, то это было мужицкое проявление недовольства. Если же заключенный вел себя дерзко и без каких-либо уступок отстаивал интересы других зеков, а также учил их, как нужно правильно вести себя в тюрьме, то это были люди из воровской масти. В большинстве случаев к ним прислушивались, но иногда бывало, что и коса находила на камень. Однако все же основная масса понимала, что справедливость, порядок и дисциплина, к чему призывали эти люди, были необходимы в этих условиях. Национализм – этот главный бич не только преступного мира, но и человечества в целом – здесь проявлялся крайне редко. Возможно, из-за того, что в Дагестане живут люди многих национальностей. Главными критериями оценки человека были стойкость, смелость, смекалка, все остальное отодвигалось на второй план. Сила также не играла главной роли, на этот счет в заключении даже бытовала поговорка: «И слона в консервную банку закатывают». В основном, конечно, больше всего неприятностей происходило с сельскими людьми. Выросшие, как правило, в горах, они никогда ни в чем не имели ограничений, и поэтому очень тяжело переносили тюремное бытие и никак не хотели мириться с устоями тюремного общества. Но обычно уже в первые полгода они перевоспитывались, а впоследствии их было не узнать. В общем, как я и писал выше, тюрьма Махачкалы ничем особым не выделялась среди заведений подобного рода. После моего первого заточения в эту тюрьму прошло десять лет. По большому счету, здесь ничего не изменилось, только крытого режима уже не было. Ну и некоторые незначительные перемены произошли, о которых не стоит упоминать. Так же как и десять лет назад, пробыл я

здесь недолго, около шести месяцев, а летом 1972 года меня перевели в лагерь общего режима в Орджоникидзе, поселок Дачный, где мне предстояло отбывать два года. После того как этап впустили в зону, в течение нескольких дней, как обычно, пришлось знакомиться с ней и, как ни печально было признать, но это не лагерь, не обитель каторжан, а раковая опухоль на теле преступного мира. Здесь процветал полный беспредел во всех его проявлениях и яркий национализм. За людей признавались только представители трех наций: дагестанцы, чеченцы и осетины. И хоть это был осетинский лагерь, но в разборках они значительной роли не играли. Если и происходили какие-либо противостояния, то в основном между дагестанцами и чеченцами. Русские признавались только в том случае, если они были коренными жителями Кавказа, да и то если они что-то из себя представляли, все же остальные подвергались всякого рода издевательствам, вплоть до изнасилований. Я много слышал на свободе о лагерях общего режима, сам интересовался некоторыми вещами, потому что знал: рано или поздно и мне не миновать этих стен. Знал, конечно, и то, что почти все эти лагеря за исключением некоторых лагерей Грузии были беспредельными. Это происходило из-за первоходочников – основной массы контингента общего режима. Наркотики здесь не переводились, в каждом отсеке были гитары, водка, анаша. Кто как хочет, тот так кайфует. Захочешь подраться, дерись хоть каждый час, даже для этого дела в лагере было выделено определенное место. И все это происходило в то время, когда в любом другом лагере за найденную пачку чая могли посадить в бур.

Есть у меня старый кореш, Сомярой кличут, сейчас он уже дедушка, живет, кстати, по соседству со мной. Также как и я, он отдал свою жизнь преступному миру и тоже пару десятков лет отмотал, но отсидел достойно, как и подобает бродяге. Так вот, за тот период времени, что мы с ним пробыли в зоне в Дачном, больше нас в карцере не сидел никто. На администрацию в зоне грех было жаловаться, но, как говорится, в семье не без урода. Так вот, было там два надзирателя, о которых стоит немного рассказать – исключительно из личной «симпатии» к этим служителям Фемиды. Одного из них звали Дуркес, у второго было не менее оригинальное прозвище – Могила. Я уверен, что даже те, с кем они работали не один год, их настоящих имен не знали, так к ним прилепились эти прозвища. Дежурство Дуркеса начиналось именно с нас, то есть с нашей с Сомярой изоляции. Шла проверка по карточкам, и, как только зачитывались наши фамилии – Зугумов, Самадов, – Дуркес тут же нас останавливал, и мы ждали окончания проверки. Затем он водворял нас на всю ночь в изолятор, правда, давал полпачки махорки. «Когда вы здесь, на душе у меня спокойно и я могу хоть немного отдохнуть, не ожидая от вас подвоха», – говорил он. И так продолжалось весь срок. Конечно, его слова были не беспочвенными, но все же это был самый натуральный произвол, к которому мы уже давно привыкли. Могила, в отличие от Дуркеса – осетина, был русским. Но способы его издевательства больше походили на кавказские. Оба эти стража лагерного порядка были старшими по нарядам, к тому времени они проработали уже долгое время в системе ГУЛАГа, и, когда попадали в изолятор я, Сомяра или наши единомышленники, они бросали все свои дела и специально приходили поиздеваться над нами. Откровенно говоря, по сравнению с тем, что я повидал ранее, карцер лагеря в Дачном был более терпимым, кстати, назывался он чулан. Это была небольшая, почти квадратная комната: ровно девять шагов вдоль и чуть меньше поперек. Посередине два пенка, на которых можно было сидеть, но всего лишь одной ягодицей. Правда, пол был деревянный, но другим он и не мог быть, так как на нем спали все, кто был сюда помещен. В углу, слева от входа, стояла параша, а на стене противоположной двери – две решетки, сплошь покрытые железом, с просверленным в них множеством дырочек, но очень мелких. Иногда трудно было понять, глядя в эти дырочки, день сейчас или уже ночь. Карцер всегда был забит до отказа. Зимой было еще терпимо, спина к спине мы умудрялись как-то кемарнуть часок-другой, да и вещи наши нам оставляли, но вот летом это был сущий ад. Что ощущает человек, когда ему на рану сыплют соль? Приблизительно то же самое испытывали мы, когда эти два садиста умудрялись удваивать наши муки. Двери в чулане были двойные: одна решетчатая, другая сплошная.

Надзиратели открывали сплошную дверь, чтобы не было видно, но хорошо слышно, и ставили два ведра, одно с водой, другое пустое, и заставляли кого-нибудь из осужденных непрерывно переливать воду из одного ведра в другое. По закону воду обязаны были давать в любое время, когда бы мы ни попросили, но нам давали один раз в сутки, и то вечером. Представьте себе до отказа набитый карцер, пот льется градом, растрескавшиеся губы, высохшие глотки, вонь, смрад, – вот в таких адových муках проходил у нас день. Но этим надзиратели не ограничивались и постоянно вносили новшества в свои изуверские методы. Самым большим нарушением режима в лагере в то время считался отказ от работы. В лагере была промзона, где сколачивали ящики разных размеров, было еще маленькое мебельное производство, ну и мелочи – разного рода товары ширпотреба. Помимо этого, выводили за пределы зоны, под конвоем разумеется, на строительство птицефабрики и новой зоны, которая вырастала рядом с нашей. Так вот, всех нарушителей режима записывали для работ в новой зоне.

Лагерная администрация того времени слишком хорошо знала нравы преступного мира. Уважающий себя человек никогда не будет строить себе лагерь, и мы считали ниже своего достоинства выходить на этот объект. Но мы уже знали тактику легавых в подобного рода мероприятиях. Стоило только выйти, и ты никто. Вот поэтому-то карцер был нашим домом и в прямом, и в переносном смысле. Больше чем на 15 суток сажать в карцер не имели права, но администрация и здесь, как, впрочем, и во всех лагерях того времени, придумала оригинальный способ ломать волю тех, кто не желал мириться с их режимом. Сажали через «матрац». То есть давали возможность переспать одну ночь в зоне, а затем снова водворяли в карцер. И так, пока не кончатся очередные 15 суток. Альтернатива, конечно, была, но, естественно, с красным оттенком. Стоило лишь постучаться в дверь, и твои муки, связанные с карцером, кончились бы. Кормили через день, но, я думаю, нетрудно догадаться, каким скудным был паек. Но и этого им, видно, было мало, а потому эти два мерзавца постоянно старались разнообразить способы перевоспитания. Так, открывали одну из дверей, только теперь уже ставили не ведра с водой, а керогаз. На нем стояла раскаленная скворода с огромным куском сала, издавая шипение и треск. Ну а запах? Тяга всего изолятора была направлена в сторону карцера, и можете представить, что мы при этом испытывали. Думаю, эти несколько примеров из огромного числа методов, которыми так славилось наше правосудие, нарисуют живую картину происходящего в ту пору. Больше трех раз по 15 суток почти никто не выдерживал, бывало, что арестантов выносили на носилках и тут же помещали в санчасть. В основном диагноз был один: истощение. Ну а если у кого-то обнаруживали что-то серьезное, то везли в областную больницу, которая находилась тоже в лагере, так называемом Лесозаводе. Лагерь размещался в самом городе Орджоникидзе, рядом с цинковым заводом, режим здесь был строгий. Однажды и меня, приморенного и изможденного, на носилках доставили на Лесозавод, у меня была желтуха в запущенной форме. Здесь уже начальство шло на некоторые уступки тем, кто пострадал от их чрезмерного усилия в нашем перевоспитании. Разрешались лекарства, привезенные из дома в любом количестве, были и другие послабления, мне даже разрешили лишнюю передачу с пятью килограммами сахара, когда приехала моя мать. Естественно, после приезда матери, ее хлопот, а оставалась она в городе до тех пор, пока ей не сказали, что моя жизнь вне опасности, я пошел на поправку. К сожалению, свидание нам с матерью не дали, аргументируя моей болезнью, но это была, конечно, отговорка. Никому из родных, кто мог как-то помешать их произволу, свиданий с нами не давали. За два года, что я провел в стенах этого лагеря, я дважды был на общем свидании по два часа каждое, да и то в самом начале срока. Все остальное время я был лишен его. Поправлялся я быстро, но еще еле ноги передвигал, слаб был. Но все же ночью почти каждый день я пробирался в зону, конечно не без помощи единомышленников, ибо санчасть находилась на территории лагеря, огороженная со всех сторон забором с колючей проволокой. Здесь, на строгом режиме, люди жили совсем по-другому, а точнее, как и положено арестанту жить в лагере. Не было ни беспредела, ни национализма. Лагерное обще-

ство, как и положено, делилось на три масти, и поэтому здесь был порядок. Нас, пострадавших от режима администрации, лагерная братва встречала всегда очень тепло и дружелюбно, по-братски. Все объясняли, всем, чем могли, делились, помогали буквально во всем. Я поначалу даже не чиририл со всеми из одной кружки, боясь заразить их, но меня тут же так осадили, что я на всю жизнь это запомнил. Чуть позже читатель поймет, почему я вспомнил именно об этом эпизоде. В общем, никто не брезговал, никто ни от кого не боялся заразиться, это были действительно бродяги без примеси. К слову сказать, в то время Лесозавод считался одной из самых лучших зон в стране во всех отношениях, а такой показатель не мог не радовать братву, которая здесь сидела. Но, к сожалению, и тут я недолго задержался, а точнее будет сказать, опять фортуна повернулась ко мне задом. Начальником всей санчасти, включая больницу, была одна армянка, майор, по-моему, звали ее Сусанна, зато какое у нее было знатное прозвище – Армянская королева. Каторжане подчас бывают большими шутниками и выдумщиками, и, глядя на этого мужлана в юбке, это подтверждалось весьма красноречиво. Исключительно из-за уважения к белому халату я не хочу награждать майора соответствующими эпитетами, но одно все же было неоспоримо: внешние данные являлись прямым дополнением к ее внутренним качествам. Однажды во время обхода зайдя ко мне в палату, она сказала: «Хватит, Зугумов, ты мне надоел. Я устала все время слышать твое имя, собирайся на этап. И если я услышу хоть одно слово в оправдание, будешь ждать этап в карцере». Я был больше чем удивлен. Дело в том, что за все пребывание в больничке я ни разу даже не заходил ни в один кабинет, ничего ни у кого не просил и вообще, кроме нянечки-старушки, которая ухаживала за мной, когда я почти не мог ходить, я ни с кем из персонала больнички не общался. Как тут было не возмутиться? В общем, меня закрыли в карцере до очередного этапного дня и вскоре отправили снова на Дачный. Выглядел я неважно, но, откровенно говоря, чувствовал себя неплохо. Однако вида я, естественно, не подавал, наоборот, старался показать, что я еще нездоров. К тому времени до свободы мне оставалось что-то около пяти месяцев. Но главное, чего я побаивался, был изолятор. Там строился новый бур, этакая цементная коробка. Поговаривали, что один из первых шести кандидатов туда – это я, но я как-то не верил, и, как время показало, зря, ведь недаром говорят: дыма без огня не бывает.

И когда я уже совсем было забыл об этом, тут-то меня и определили в изолятор. Нас шестерых, как бы первых подопытных кроликов, закрыли в этом цементном аду. Оставалось мне до свободы чуть больше трех месяцев, у всех остальных срок был впереди. Но считать, что мне в этом плане повезло больше всех, было бы просто неприлично. Я не стану описывать сам бур, потому что у читателя еще будет возможность в следующих главах узнать все, что касается этого серого и зловещего помещения. Хочу лишь заметить: когда я освобожден, а за мной приехали родители, моя бедная мать была в шоке. Было 17 июня, на Кавказе это самый разгар лета, я же был бледный как мел. Когда мать выразила свой протест начальнику, тот ей сказал: «Счастье ваше и вашего сына, что у него так быстро кончился срок, еще бы годик, и навряд ли вы увидели бы его вообще». И от гнева его оплывшее жиром лицо стало трястись, как у кабана, когда он роет листья, ища желуди. О чем было матери говорить с ним? Кстати, об этом диалоге с Хозяином я узнал только дома.

Глава 2 Женитьба

Теперь на свободе главными лекарствами для меня, по мнению моей матери, должны были стать солнце, море, свежий воздух и плюс ко всему хорошее питание. Всего этого у нас в Махачкале всегда было в избытке, слава богу, и уже через месяц меня было не узнать.

Почти сразу после освобождения я познакомился со своей будущей женой Аидой и, недолго думая, сделал ей предложение. Не знаю, любил ли я ее, скорее всего, мне так только

казалось. Если бы любил, то, думаю, в дальнейшем не вел бы так непорядочно по отношению к ней. Отец ее тоже сидел – почти всю жизнь, она его, можно сказать, не видела, воспитывали ее дядя с женой, кстати сказать, прекрасные люди. Мать Аиды жила в горах с другим мужем. В общем, я решил, что мы с ней прекрасная пара во всех отношениях. Свадьба наша была великолепна, до сих пор воспоминание о ней не стерлось из моей памяти. Прошло чуть больше месяца после этого знаменательного события, как я получил письмо из Москвы от Ляли. Моя семейная жизнь была недолгой, так как на следующий день после получения Лялиного письма я стал готовиться в дорогу, никому ничего не сказав. За те два года, что я находился в лагере, Ляля дважды приезжала ко мне на свидание, и оба раза ей это удавалось. Хотя свиданий с родными, как я писал ранее, меня все время лишали. Но здесь мне удивляться было нечему, я знал способности своей подруги. Первый раз она приехала из Самарканда вскоре после того, как меня посадили, и второй раз срочно вылетела из Москвы, когда узнала, что меня, больного, вывезли на Лесозавод. В заключении всегда главное не способы и пути отправки вестей о себе, а то, чтобы вести эти воспринимались должным образом. И здесь я мог целиком и полностью положиться на Лялю, моего верного и преданного друга. Что же касается писем, то приходили они от нее регулярно, из чего я знал обо всех новостях, меня интересующих. Естественно, она не знала, что я женился, иначе, думаю, не позвала бы меня в столицу. И выбор, как читатель понял, пал на «бубновую даму». Бывают ситуации, когда человек поступает настолько странно и неожиданно, что порой и сам не может найти этому объяснение. Никому ничего не сказав и даже не оставив записки, в первых числах сентября я выехал в Москву. Как сибариты, увлеченные красотой Клеопатры, последовали за ней в Ациум и добровольно погибли за нее, так и я пошел бы в огонь и в воду за своим верным и преданным другом. И по ее первому слову без колебаний, без промедления, я бы даже сказал почти без сожаления, бросился бы вниз с самой высокой горы Дагестана. Вот так я бросил свою молодую жену, с которой прожил всего месяц и одиннадцать дней в доме моих родителей, да еще и беременную. Но об этом, к большому сожалению, я узнал гораздо позже, в лагере, когда сидел под раскруткой на станции Весляна в Коми АССР. К сожалению, за мою долгую и непростую жизнь я совершал довольно много поступков, которых потом стыдился. Но Всевышний, как правило, мужчинам таких проступков не прощает, и потом за все приходится платить.

Прибыв в Москву, я сразу почувствовал себя как рыба в воде. Я как-то писал в одной из предыдущих глав, что тот, кто однажды побывал здесь, стремится сюда вернуться. Как бы ни ругали Москву всякого рода лапотники и плебеи, второго такого города нет.

Ляле я, естественно, насчет своей женитьбы ничего не сказал. Накануне моего приезда она получила письмо от Дипломата, где он писал, что они с Карандашом находятся в Коми АССР. Передавал большой привет нам с Пашей, кстати, Цируль тоже со дня на день должен был приехать в Москву. Ему пришлось два года отсидеть где-то в Грузии. В общем, жизнь входила, по нашим меркам, в свое обычное воровское русло. Но, как поется в песне, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... В то время нам очень нужны были деньги, и не просто деньги, а много денег. Два дня бесплодных поисков не увенчались успехом, и мы решили нырнуть в центр. Обычно в центр направлялись залетные и молодые ширмачи, не заботясь о том, что там, где можно снять хорошие деньги, всегда есть и хорошая охрана. Там они и попадались. Здесь работали несколько опергрупп с Петровки. Так что путь сюда ширмачам, по большому счету, был заказан. Но нам нужны были деньги, и как можно быстрее. Это касалось чисто воровских дел, о которых я не имею права писать. Объектом наших наблюдений, после многочасового обхода ГУМа, ЦУМа и прилегающих к ним магазинов и ларьков, стал Петровский пассаж, а точнее, ювелирный отдел этого торгового колосса. Здесь с утра ломился народ. В очередях в основном, конечно, были женщины. С врожденной сноровкой, как волк с волчицей, мы обнюхали каждый закуток, где, по-нашему, могли притаиться охотники, но их нигде не было видно. Это было ненормально, но мы все же решили «работать», уповая

на ловкость своих рук и кусочек форта. Но, видно, фортуна сегодня решила сыграть с нами злую шутку Уже несколько минут я наблюдал за одной очень импозантной дамой в красивом и, разумеется, дорогом прикиде, да и на вид она была недурна собой. Если бы дело происходило в Лондоне, я бы сказал, что она была леди. Кстати, впоследствии я не ошибся в своей оценке. Но главное было то, что она держала под мышкой лаковый ридикюль, в который только что положила туго набитый кошелек. Она стояла возле прилавка, кого-то выглядывая через головы. Момент был самый что ни на есть подходящий. В мгновение ока я оказался рядом с ней. Сделать правильный надрез углом и выволочь наружу гомонец было для меня делом одной – от силы двух секунд. И в другой момент, когда я уже хотел передать пропуль Ляле, меня в позе ласточки, с зажатым в руке кошельком, поволокли в дежурную часть, которая находилась здесь же, в магазине. Пришлось вспахивать носом пол этого злосчастливого пассажира, который остался в памяти одной из черных страниц моей жизни. Я не раз на себе испытывал бульдожью хватку этих профессионалов с Петровки, но всегда ухитрялся что-то предпринять. На этот раз понял: я гусь приезжий. К сожалению, шансы выбраться из цепких лап легавых были равны нулю. Просчитав все это, я понял, что главное – это отмазать любыми путями Лялю, так как увидел, что через несколько минут какой-то оперок завел ее в контору. Я поневоле залюбовался ее игрой, а присмотревшись повнимательнее, понял, что Ляля призывает меня сыграть с ней дуэтом. И мы тут же разыграли спектакль, где я был залетным, ширмачом-верхушником, а она – проститутка с уголка. Мы его разыграли с таким блеском, что, я уверен, нам мог бы позавидовать любой театральный режиссер. Но я свободно вздохнул лишь тогда, когда на виду у всех Ляля сказала мне вульгарным тоном: «Чао, фраерок, воровать – это плохо, и за это сажают в тюрьму, больше не воруй». «Уж ему-то придется отсидеть там этак лет пять», – сказал один из ментов, легонько подталкивая ее к выходу. И надо было видеть ее глаза, глаза отчаявшейся волчицы, которая, только что сумев избежать капкана, с болью смотрела, как забирают молодого волка из ее стаи. Забыть эти глаза и этот взгляд – значит сказать, что ты не жил. Тем более, как оказалось, видел я Лялю в последний раз в жизни. В себя я пришел, только когда очутился в МУРе, куда был доставлен все той же старшей опергруппы по фамилии Грач. Нам крупно повезло, что в момент, когда мы давали с Лялей спектакль, ее не было рядом, иначе нам бы пришлось чалиться вместе. Как эта Грач рвала и метала, когда узнала все, это надо было видеть. Но потом, видно, взяла себя в руки, успокоилась и предложила мне перед отправкой в тюрьму поговорить у нее в кабинете в МУРе. К такому общению с профессионалом из противоположного лагеря частенько прибегали зубры уголовного розыска с Петровки, 38 того времени. Вот так мне пришлось перевернуть эту грустную страницу моей жизни. Трое суток пробыл я в 64-й КПЗ и 7 октября 1974 года впервые переступил порог Бутырского централа, пробыл на свободе всего 3 месяца и 17 дней.

Недавно на книжном прилавке я увидел книгу, автором которой был бывший надзиратель Бутырок. Он так их подробно описал, как это мог бы сделать только хороший хозяин, у которого есть дом и свое подворье, не забыв о самых потаенных и укромных уголках. Так что, думаю, будет излишним и мне пускаться в описание этой тюрьмы. Что же касается того, что было характерно для Бутырок того времени, об этом, пожалуй, вкратце стоит рассказать читателю. Хозяином Бутырок в то время был Подрез, ярый и бескомпромиссный мент, но справедливый. Он считал, то, что положено по закону, – это ваше, все же остальное противозаконно, а значит, подлежит конфискации. Примерно под таким девизом он и хозяйничал в тюрьме. Почти в каждой камере половина мест была свободной, правда, и тогда, как и сейчас, основной контингент заключенных в Бутырках состоял из залетных. Да и сами люди были другими. Не было никаких «лиц кавказской национальности», ни пиковых, ни бубновых, все были только крестовой масти. Вообще национализм, как таковой, не приветствовался, а тот, кто начинал выступать по этому поводу, строго наказывался братвой. Независимо от национальности зека или его вероисповедания главным было исполнение им тюремных канонов. Попал я по распре-

делению в третью камеру на первом этаже. Встретила меня босота, как и подобает встречать бродягу, чисто по-жигански. Пивнули, приклянули, о жизни нашей босяцкой прикололись, в общем, через пару часов у меня было такое ощущение, что я вообще не покидал тюремных пенатов, только лишь из одной тюрьмы перевезли в другую. Бродяга, вошедший в камеру, в первую очередь интересуется: есть ли в тюрьме урки? Воры, конечно, там были, в Бутырках вообще не бывает, чтобы не сидел кто-либо из урок. Помимо Монгола в этой тюрьме отбывали срок Гамлет Бакинский, Иван-рука и Тенгиз Тбилисский.

Что же касается режима, то, мягко говоря, он оставлял желать лучшего. Как только звенел звонок отбоя, все должны были находиться на своих шконарях под одеялами, но не закрывать головы. Самым крупным нарушением считалась не игра в карты, как обычно в других тюрьмах, а переговоры с другими камерами. И поэтому надзиратели даже у окна стоять не разрешали. Вообще после нескольких устных замечаний арестантов водворяли в карцер. Карцер, правда, больше десяти суток не давали, но и их нужно было отсидеть. Обычно выходя оттуда, шли по-над стенкой, держась за нее. Каждый, кто брал бразды правления в Бутырках, старался разнообразить рацион наказаний. Малейшее неповиновение – и тут же бежали «веселые ребята», так ласково окрестили узники спецнаряд Бутырского централа. Это не был ни ОМОН, ни спецназ, это было детище самой тюрьмы, они здесь жили, они здесь распоряжались по своему усмотрению. Чуть ослушался – и тебя могли так быстро проволочить до карцера, что даже пятками пола можно было ни разу не коснуться. В общем, ребята свое дело знали туго. Но что удивительно, при всех строгостях закона, жестких правилах самой тюрьмы заключенные, как правило, были солидарны и сплоченны. Выше всех качеств ценилась тогда порядочность, к какой бы ты масти ни принадлежал. Бытие порождает сознание. Как бы ни была парадоксальна эта фраза в применении к зекам, но она очень точно определяет характер и поступки каторжан ГУЛАГа. Что касается питания, то, откровенно говоря, от нынешнего оно мало чем отличалось. Тот же горький, вязкий хлеб бутырской спецвыпечки и почти та же похлебка. В месяц разрешался на десять рублей ларек, если у тебя были деньги, и одна передача – пять килограммов, опять же если этих радостей ты не был лишен. Через несколько дней после водворения в тюрьму я получил от Ляли передачу и деньги на ларек, а точнее, квиток. Кроме родственников, записанных в деле, никто не мог ни прийти к тебе на свидание, ни передать передачу – с этим было строго. Но я знал, что изобретательности Ляли не было предела. Мало того, в передаче была спрятана маленькая записочка с несколькими строками: «Не грусти, сделаю все, что возможно и невозможно, целую. Ляля». Надо ли говорить, какой прилив сил придал мне этот маленький клочок бумаги. Главным стимулятором моего хорошего настроения, конечно, были чья-то забота и внимание. Все остальное было, конечно, тоже немаловажно, но отодвигалось на второй план.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.